

ИЗ ИСТОРИИ ПОЗДНИХ СВЯЗЕЙ ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА С РОССИЕЙ

1. ПЕСТЕРЕВ У ГЕРЦЕНА 2. СВЯЗИ ВОРОЖЦОВА С ОГАРЕВЫМ

Статья и публикация В. Н. Шульгина

1

ПЕСТЕРЕВ У ГЕРЦЕНА

Весной 1864 г. к Герцену в Лондон приехал иркутский купец Николай Николаевич *Пестерев* (1832 — ?). Он пробыл в английской столице, точнее в ее предместье Теддингтоне, четыре дня. Встречи его с Герценом происходили ежедневно. А в начале следующего, 1865, года Англию посетил знакомый Пестерева, спичечный фабрикант из города Слободского Вятской губернии, Иван Прокофьевич *Ворожцов* (1836 — ?). Герцена в ту пору не оказалось в Лондоне, и Ворожцов мог встретиться только с Огаревым.

Свидания Н. Н. Пестерева и И. П. Ворожцова с русскими изгнанниками до сих пор не привлекали должного внимания исследователей, хотя еще в 1930 г. Б. П. Козьмин опубликовал в № 1 (38) «Красного архива» любопытное письмо Огарева к Ворожцову, а в 1950 г. мы процитировали в № 8 журнала «Октябрь» несколько строк из интереснейшего рассказа Пестерева о его посещении Герцена.

А между тем, вне всякого сомнения, вопрос о знакомстве русских купцов с издателями «Колокола» представляет существенный интерес и потому, что знакомство это состоялось в ту пору, когда в обстановке реакционного натиска в России многие и многие отвернулись от Герцена и опустела русская тропа в Лондон; и потому, что свидания происходили в то время, когда шли острые и напряженные переговоры Герцена с «молодой эмиграцией», и Пестерев не только знал об этом, но и настаивал в беседах с Герценом, А. А. Серно-Соловьевичем и Н. И. Утиным на необходимости иметь единую линию, добиться единства действия; и потому, что Герцен вел с Пестеревым разговоры о таком важном деле, как план организации побега Чернышевского с каторги; и потому, наконец, что у Пестерева было большое знакомство среди политических ссыльных и каторжан в Сибири, так же как и среди революционных борцов, общественных деятелей и демократов в России. Он знал лично Трубецкого, Поджио, Муханова, Веденяпина, Н. Бестужева, Волконского, Бечаснова, Завалишина, Эржину, Мрозовского, Петрашевского, Спешнева, Львова, Бакунина, Шелгунова, его жену, мать и дочь Зайцевых, Сулина, Европеуса, Благосветлова, Потанина... Он мог рассказать Герцену о положении России и о том, что говорят, что думают оставшиеся на воле революционеры, в чем состоят их планы. Перед самым своим отъездом он повидал многих из них, и рассказать он мог не о каком-то, пусть очень важном, но все же одном пункте, а о России в целом — перед поездкой

в Европу он побывал на Урале, Волге, Дону, посетил Пермь и Саратов, Ростов-на-Дону и Казань, Москву и Нижний-Новгород, Тверь и Петербург. К тому же он был человеком ясного, трезвого ума, неумейной энергией, большой наблюдательности. Он умел передавать тонко, точно и в то же время наглядно суть того, что видел и слышал. Ему было что сказать. Этим, конечно, и объясняется то, что его разговоры с Герценом продолжались четыре вечера.

Об этих разговорах, как и о его прошлом, мы узнаем из обширных и чрезвычайно подробных показаний, данных в 1866 и 1867 гг. сначала московскому обер-полицмейстеру, а затем петербургской Следственной комиссии по делу Каракозова, а также из многочисленных других документов, хранящихся в «деле Пестерева»*.

История возникновения этого дела такова.

В 1866 г. во время следствия по делу каракозовцев было установлено, что некоторые из них намеревались освободить Чернышевского. Н. Странден должеч был поехать с этой целью в Сибирь. Чтобы облегчить его миссию, И. Худяков снабдил Страндена рекомендательными письмами: к чиновнику Наумову в Тобольске, к находившимся в Сибири Мурашко, Гриневичу, Вышинскому, Кухарскому, Ямонтам и, наконец, к Пестереву в Иркутске (д. 302, лл. 340—341). Так впервые узнало о Пестереве III Отделение и заинтересовалось им. Председатель учрежденной в Петербурге Следственной комиссии по каракозовскому делу, Муравьев, по соглашению с шефом жандармов Шуваловым, предписал омскому жандармскому штаб-офицеру произвести самое строгое и подробное расследование о замысле освобождения Чернышевского. В Омске тогда же была учреждена своя Следственная комиссия. Работать она начала 24 сентября 1866 г. Пестерева ей удалось найти не сразу. Искали его в Иркутске, а его там не было с мая 1863 г. Отыскивали Пестерева в Москве во временной долговой тюрьме, где он содержался за частные долги с января 1866 г.

Пока он сидел в «яме» (так называлось долговое отделение тюрьмы), никто не интересовался ни его перепиской, ни его записями. Задолженность подтверждалась другими документами, и их было совершенно достаточно, чтоб доказать ее. Но теперь возникло новое дело: об участии Пестерева в политической борьбе, и поэтому понадобились его заметки и письма. Было дано распоряжение произвести обыск в его квартире в Иркутске, ознакомиться с бумагами, находившимися с ним в «яме», допросить его о том, где хранятся остальные бумаги, произвести обыск у его гражданской жены Веры Яковлевны Ковальковой, взять с нее подписку о невыезде, отобрать хранившийся у нее альбом с фотографиями. У купца Дунаева был найден какой-то ящик Пестерева с бумагами, который должен был быть отправлен в Иркутск. В этом ящике не нашли, правда, того, что искали, того, на что указывал сам Пестерев, как на находившееся в нем, — возможно, потому, что это был другой ящик, а тот, который искали, все же был отослан в Иркутск и где-то затерялся в пути или был своевременно отправлен куда-то и надежно спрятан там — этого

* Материалы «дела Пестерева» сосредоточены в двух делопроизводствах III Отделения:

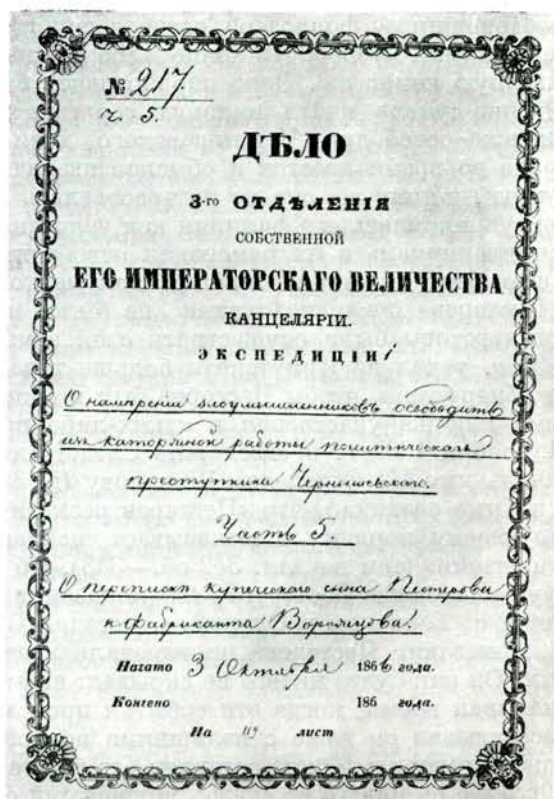
1. ЦГИАМ, ф. 109, д. 217, ч. 1—5, 1866 г.: «О намерении злоумышленников освободить из каторжной работы политического преступника Чернышевского». Часть 5-я этого дела называется так: «О переписке купеческого сына Пестерева и фабриканта Воржцова». В дальнейших ссылках — д. 217 с указанием листов.

2. ЦГИАМ, ф. 95, д. 302, ч. 4, 1866 г.: «Об иркутском купеческом сыне Николае Пестереве, слободском купце Иване Воржцове и курляндском урженце Вильгельме Лапре» и приложении к этому делу за №№ 156—160. В дальнейших ссылках — д. 302 с указанием листов.

так и не узнали. Но и то, что нашли в этом ящике, и то, что выяснилось из первых же показаний его владельца, позволило III Отделению сделать вывод, что Пестерев «является личностью, сбитою направлением людей, враждебно относящихся к настоящему порядку государственного строя», что круг знакомств его подозрительно обширен, разнообразен, а главное не типичен для купца, и что образ мыслей его — «противоправительственный». Так и писал шефу жандармов московский обер-полицмейстер генерал-майор Арапов 18 октября 1866 г. (там же, лл. 46—48 об.).

16 октября 1866 г. Пестерев был переведен из долгового отделения московской тюрьмы в политическое, находившееся при городской полицейской части, а затем направлен в Петербург и 24 декабря водворен в Петропавловскую крепость.

Хотя III Отделение, как сказано, заинтересовалось Пестеревым потому, что его имя было упомянуто в связи с обнаруженным намерением «злоумышленников» освободить Чернышевского из Нерчинской каторги, его допрашивали не только об этом, но и о потанинцах, и о поездке к Герцену, и о Ворожцове, допрашивали, повидавшему, с пристрастием особенно тогда, когда дело шло о потанинцах, так как в его тетрадях сохранились такие записи: «Предложили мне вопрос по делу об сибирском сепаратизме и об лицах, в нем участвующих, что я знаю и что между мной и этим делом общего<...> Все это меня до того ошеломило, что я положительно был вне себя целый день<...> Что у меня может быть общего в деле, где на волос нет здравого смысла?» А его вновь допрашивали, «даже с острасткой». «Что рассказывать? Нечего. Ибо в этом деле я меньше их самих что понимаю. Кроме отъявленной ребячьей глупости» (д. 302, «Приложение», № 156, л. 93).



ОБЛОЖКА ДЕЛА III-ГО ОТДЕЛЕНИЯ О ПЕСТЕРЕВЕ И ВОРОЖЦОВЕ, 1866 г.

Центральный исторический архив, Москва

«Другое дело об увозе Чернышевского,— писал он,— хоть и то не больно умно придумано, ну да все же не так стыдно, да и толк есть» (там же, л. 94). «Но тут с ерундистами мальчишками приравнять. Даже досадно, что жандарм-то заподозрил» (там же). Он резко отрицательно относился к идее отделения Сибири от России («в сути галиматья»), но не скрывал ни того, что знал манифест потанинцев, ни того, что помогал организовать сибирское студенческое землячество, что собирал для него деньги. Но это же студенты, умиравшие с голоду, разутые и раздетые, как же им не помочь! Он заявлял, что не мог даже предполагать, как из этого такое политическое дело «выйдет». Но в том, что участвовать в освобождении Чернышевского «не так стыдно», что в этом «толк есть», об этом заявлял он открыто. Политические, экономические, философские идеи Чернышевского ему были близки. Да еще об одном не прекращал говорить он в течение всех дней допроса: о своей основной идее — ассоциации, которая имела бы в своем распоряжении фабрики и заводы, фотоателье и торговые организации. Деятельность ассоциации должна была, по его замыслу, распространяться на всю Россию и частично на границу. Ему хотелось, чтобы все ответственные должности в ассоциации были заняты поднадзорными, ссыльными, эмигрантами, и на вопросы руководителей Следственной комиссии, чиновников III Отделения, спрашивавших, зачем это, он отвечал: для торгового и фабричного предпринятия, основанного на принципах ассоциации, нужны честные люди, а политические ссыльные не крадут — самый это надежный народ. Этими или другими какими-либо соображениями в действительности руководился Пестерев, об этом можно спорить. Бесспорно одно: во всех своих показаниях он неизменно приводил этот мотив. По его утверждению, именно это «дело» привело его к Герцену, который любит народ, а купцы его обирают. Как же он ассоциацией может из дорожить? Помочь ей должен.

Повидимому, вопрос об освобождении Чернышевского каракозовцами меньше всего теперь (в конце 1866 и начале 1867 г.) интересовал Следственную комиссию. Дело каракозовцев было закончено. Омская комиссия не сумела найти никаких серьезных доказательств существования замысла освободить Чернышевского, хотя обшарила всю Россию и отобрала во время арестов и обысков двенадцать тысяч листов исписанной бумаги, к тому же она не интересовалась Пестеревым, а письмо, в котором упоминалась его фамилия как человека, который может помочь «злумышленникам» в их намерении освободить Чернышевского из Сибири, могло быть признано лучшим документом, доказывающим, что связи у Пестерева с каракозовцами не было, иначе они знали бы в 1866 г., когда готовы были осуществить свой замысел, что Пестерев еще в мае 1863 г. уехал из Иркутска и больше туда не возвращался. «Следствием не обнаружено, чтобы Пестерев был в сношениях с вышеназванными лицами или же участвовал в каких-либо преступных замыслах», — писал 11 ноября 1867 г. председатель Следственной комиссии П. П. Ланской начальнику III Отделения Шувалову (д. 302, л. 341 об.). Но для комиссии было очевидно, что «Пестерев резко и враждебно относится к существующему порядку и выказывает неблагонадежность в политическом отношении» (там же, лл. 342 об.—343). Об этом говорили, по ее мнению, круг знакомств Пестерева, его показания, его поездка за границу, его связи с Герценом и Огаревым, поездка Ворожцова за границу.

Показания Пестерева производили впечатление искренних, откровенных. Он как будто ничего не скрывал: называл фамилии, города, события, указывал время, когда эти события происходили. Могло показаться, что рассказывал он даже с излишними подробностями. Но такова была его манера говорить. Он не оставлял без ответа ни один заданный ему вопрос. И все же он ничего не сказал лишнего ни о себе, ни о других. Он сам ве-

ликолепно знал эту свою особенность и так говорил о переводчике Вильгельме Лапре, сопровождавшем его за границу: «Об сути моих дел Лапре знал и понимал не более других, сталкивающихся со мной личностей, то есть ровно ничего. Потому что я не имел привычки высказываться ни перед кем» (там же, л. 267).

Но о цели поездки за границу Пестерев не умолчал, он припомнил и повод, и даже разговор, который помог сложиться окончательному решению. По его утверждению дело обстояло так: «В это же время <в 1862 г.> проездом через Иркутск в Забайкалье был в Иркутске Шелгунов, с которым мне советовали познакомиться, как с дельным, передовым человеком, который едет провожать Михайлова; такая рекомендация мне не понравилась: тогда я не знал <их> близких отношений и думал, что это просто овация против правительства <...> Но когда, по истечении некоторого времени, Шелгунова привезли из Забайкалья* с женою и ребенком, и я с ним встретился в библиотеке Шестунова, где он просил последнего ознакомить его с экономически-промышленною и ремесленною статьею в Иркутске, и Шестунов указал на меня, как на человека знакомого с этим специально, то Шелгунов просил его непременно познакомиться, а таким образом я, сойдясь с Шелгуновым, занимался с ним ежедневно в фотографии с 8 часов и до 11 вечера, в которой в это время посетителей не было, а оставались только Вера Яковлевна Ковалькова и чернорабочий. Я рассказывал ему о житье-бытье рабочего сословия вообще и о ссыльных в особенности, указал при этом на рабочий дом, основанный сначала из ссыльно-каторжных мастеровых, из которых лучших по технике оставляли в особо устроенном рабочем помещении; сначала они работали на казну под присмотром, а по прошествии срока селились около, и из этого составила́ся целая слобода лучших ремесленников и граждан. Шелгунов все выслушивал и делал на бумаге заметки, чтобы не забыть, даже некоторые мои фразы записывал другие <!> целиком**». Я старался указать на взгляд и отношения России к Сибири и на ссыльное заселение; особенно мне хотелось указать на дурное отношение труда к капиталу. В Шелгунове я встретил человека мыслящего и крайне работающего, который до педантизма обнаруживал уважение и, так сказать, был пронизан экономическими принципами в нравственном и политическом отношении, чего именно в русской жизни и недостает, то есть уважения к чужой собственности и к труду, а в особенности это выглядит в кругу людей коммерческого состава; об этом шли у меня с Шелгуновым длинные разговоры, причем о делах политических мы не рассуждали, так как он молчал, и мне, знавшему его двусмысленное положение относительно правительства, не деликатно было первому поднимать или возбуждать этот вопрос. Из моих рассказов о Сибири Шелгуновым и была написана статья „Иркутск и его жители“ — не припомню, кажется так или в этом роде, напечатанная в книжке „Русского слова“ за 1863 год» (там же, лл. 194—195 об.).

Пестерев не скрыл и того, что заходил к Шелгунову. Но и здесь, как и у себя, он с Шелгуновым будто бы не говорил «о политике ни слова»; он давал ему материал о Сибири, вполне легальный материал, который тот использовал в своей статье.

«Я у него был в квартире раз или два, где он отрекомендовал мне свою жену Людмилу Петровну, с которой я в особенный разговор не вступал. Когда же пришло известие, что Шелгунова требуют в С.-Петербург,

* В подлиннике: Забалкана.

** Действительно, в статье Шелгунова «Гражданские элементы Иркутского края» («Русское слово», 1863, № 10) есть мысли, очень близкие тем, которые мы находим в следственных показаниях Пестерева.

но не объяснено — одного или с женою, то наши власти порешили отправить их обоих не медля. Шелгунов стал просить меня починить его тарантас, зная, что по моим отношениям к мастерам они для меня сделают ко времени.

На другой день Шелгунов пришел ко мне совершенно расстроенный и объявляет, что его посылают одного, а что Людинька, как он звал свою жену, остается с сыном одна и что он не знает, что делать и как быть. Я сказал, что пусть не беспокоится и положится на меня: я устрою ее и похлопочу и сделаю все, что от меня будет зависеть. Шелгунова увезли. Жена его с малюткой осталась на моем попечении. Я обыкновенно к ней заходил каждое утро в восемь часов и заставлял ее за работою перевода Шлоссера и бывал иногда вечером. Такие отношения меня сблизили с Шелгуновой, а через это из ее рассказов я узнал о событиях того времени и о настроении общества в С.-Петербурге, что подало мне мысль сойтись со всем этим кружком. А случай был под рукою: ехать провожать Шелгунову, а чрез то ознакомиться со всеми передовыми, прогрессивными личностями и особенно с литературой, которая для меня была нужна как проводник моих идей и воззрений, тем более, что дома, на месте, ничего не оставалось делать; опыты относительно женского труда и развития торговли на иных началах и ремесленно-фабричной промышленности были сделаны, также и пристроить к этим работам ссыльных было испытано, и я убедился в полезности моего предприятия. Нужны были средства и огласка дела; добыть средства на месте не было возможности, дать известность делу тоже, и вот я, задавшись всем этим, вздумал поехать искать сотрудников и денег» (там же, л. 197—197 об.). И логика развития того дела, которое увлекало Пестерева, — организация ассоциации, — и положение России, и знакомство с Шелгуновым — все толкало Пестерева, по его словам, в центр, а затем за границу.

9 мая 1863 г., получив разрешение, Л. П. Шелгунова в сопровождении Пестерева выехала из Иркутска. Ехали двумя экипажами: в одном — она с няней и ребенком, какая-то женщина, ехавшая в Пермь к дочери, и молодой приказчик из Кяхты; в другом — Пестерев. Из Томска поехали в Тюмень на буксирном пароходе. В Перми они расстались: Шелгунова поехала в Петербург, а Пестерев остался на некоторое время в Перми.

Во время дороги, по словам Пестерева, Шелгунова рассказывала ему подробно о Николае Серно-Соловьевиче, о его библиотеках, о работе в них женщин, о М. И. Михайлове, о роли людей, группировавшихся вокруг «Современника» и «Русского слова», а Пестерев занимался изучением французского языка. Шли разговоры и о политике, он не скрывал этого. По некоторым вопросам возникали споры, и споры резкие. Отголоском одного из споров является следующая любопытная фраза: «Людмила Петровна! Вы нас не понимаете потому, что вы все-таки барыня, и при всем моем к вам уважении, в случае чего, я первый накину на вас петлю» (л. 199). «В случае чего» означает, конечно, «в случае революции». В ту пору, в годы демократического подъема в стране, Пестерев ясно противопоставлял свою политическую позицию — позиции тех, кто «все-таки барыня».

Несмотря на всю противоречивость и неотчетанность взглядов, несмотря на свое социальное положение, Пестерев все же признавал себя мужчиной, и революционно настроенным мужчиной. Сам он дает такое объяснение своему резко отрицательному отношению к барам, денежной аристократии:

«Причина этому была та, что я, вращаясь в кругу приказчиков, лавочных мальчиков, прислуги, получил по их воззрениям если не ненависть, то полную отрицательность в полезном существовании дворян.

ГЕРЦЕН

«Фотография с дарственной надписью неустановленному лицу: «Простите великодушно старичка. Фев. 1865»

Исторический музей, Москва



и денежного аристократа. Я смотрел на них, как на гнетущих других, -- одним словом, это было то самое, что Жуковский * высказал в вопросе „К молодому поколению“» (там же, л. 122). Он хорошо знал всю подноготную рождавшейся, крепнувшей буржуазии, слышал оценку ее дел со стороны тех, кто испытывал на себе ее гнет; мало этого, он видел невероятную нищету, чудовищный произвол, царивший тогда в Сибири, видел царскую каторгу. Вращаясь с детства в кругу политических каторжан, он испытывал на себе их влияние. Рассказывая о своей любви к П. М. Барковской, польке, жившей в Сибири среди ссыльных, которая его тоже любила, он останавливается подробно на том, как восстали против их брака и ссыльные, и купцы. «... Эта любовь имела роковое влияние на всю мою жизнь, ибо с той поры, — пишет он, — я окончательно шел вразрез с обществом и принятыми им воззрениями и убеждениями» (там же, л. 124). «И хотя сделали меня несчастным не из злобы, а скорее из любви по-своему, но я понял, что виновником моего горя весь общественный строй русской жизни» (там же, л. 128 об.). С ним и хотел бороться Пестерев.

Он оценивал встречавшихся ему людей преимущественно с одной точки зрения: ему важно было, в какой мере они способны участвовать и участвуют в этой борьбе.

* Так в подлиннике. Как известно, прокламация «К молодому поколению» была написана М. И. Михайловым совместно с Н. В. Шелгуновым.

Этот критерий определил его суровое отношение к ссыльным петрашевцам, потерявшим, по его мнению, всю энергию борьбы.

«По возвращении из заводов Петрашевского, Спешнева и Львова я постарался познакомиться с ними, что мне было весьма легко по торговле в магазине», — пишет Пестерев и переходит затем к характеристикам своих новых знакомцев.

«В Петрашевском я нашел политического, помешанного на легальном порядке, чудака, все, об чем бы ни шла речь, всего, по его мнению, можно рано или поздно добиться легальным порядком <...> Спешнев — в некотором смысле философ, решивший, что все делается потому, что так должно делаться, — скверно ли, хорошо ли, но ничего иначе быть не может. Львов, тот даже и этого не думал, а жил и старался только найти средства к жизни, которые у них у всех были крайне ограничены» (там же, лл. 137—138). И еще раз в своих показаниях Пестерев счел нужным вернуться к Львову и рассказал о встрече с ним в Петербурге в 1864 г., т. е. после освобождения Львова из ссылки: «Был у меня приятель по Сибири, Львов, товарищ Петрашевского, у которого, между прочими визитами, я был в С.-Петербурге. Я застал его в несказанной радости от того, что генерал-губернатор Суворов был восприимчивым отцом родившегося у него сына <...> При этом Львов мне объяснил, что служит у него в канцелярии. Вот, думаю, куда пошло; но ничего, особенно меня это не огорчило, не удивило — видел еще не такие камуфлеты» (там же, л. 215).

Купеческий сын Пестерев думал в ту пору не так, как Львов, Спешнев, Петрашевский. Он был убежден, что ничто само собой не придет, что того, чего он хотел добиться, «легальным порядком» добиться нельзя. И он осуждал тех, кто дальше легального порядка не шел.

Правда, в показаниях Пестерева, написанных после ареста, в тюрьме, в 1866—1867 гг., когда революционная ситуация была в прошлом, когда, объехав пол-России, съездив в Европу, он пришел к выводу, что в стране и за границей нет партии, способной подготовить революцию, — есть утверждения, которые можно понять как осуждение революционеров, как капитуляцию перед царизмом. Таковы, например, записи, относящиеся к выстрелу Каракозова.

«Пришло 4 апреля, — читаем мы в показаниях о выстреле Каракозова. — Меня это событие поразило с нескольких сторон: подлость, глупость, сумасшествие» (л. 221 об.).

Конечно, у Пестерева были свои основания негодовать на каракозовцев. Их процесс был причиной его ареста, допроса, крушения дела его жизни, его замыслов. К тому же он был несогласен с тем, что убийство царя что-либо разрешает; он считал, что только революция сметет остатки крепостничества, приведет к уничтожению эксплуатации, бесправия, гнета, — к социализму. У него не было единства взглядов и с потанинцами; при всей любви к Сибири он отвергал в корне идею сепаратизма, отделения Сибири от России, но по отношению к потанинцам он нашел другие слова.

Вслед за приведенной записью следует еще одна, также относящаяся к делу Каракозова.

«Тут получил письмо от Лапре, — сообщал Пестерев, — что у нас снялся Комиссаров Костромской... и был весьма рад, что снялся Комиссаров» (л. 222).

Это показание как будто усиливает предшествующую формулировку резко отрицательного отношения Пестерева к выстрелу Каракозова. Можно подумать, что Пестерев не только осуждает индивидуальный террор, но и высказывает радость по поводу того, что тот, кто спас царя от смерти, — награжден, превознесен, обласкан. Но следующие же строки

ставят такое предположение под сомнение, больше того — отвергают его: «...а тут еще,— продолжает Пестерев,— услышал и от содержавшегося фотографа Эйхенвальда, что карточки Комиссарова, моей фотографии, запрещено продавать и что сама фотография закрыта, так как на карточках оказались ослиные уши. Начиная рассматривать и вижу сложившуюся складку от драпировки» (л. 222).

При этом добавлении слова: «весьма рад, что снялся Комиссаров» — приобретают иной смысл. То, что эта фотография принадлежала Пестереву, никто не знал и не должен был знать, так как ее продали бы немедленно и из вырученных денег погасили бы часть его задолженности; обвинения в том, что в его фотографии печатаются такие карточки, никто ему не предъявлял — следовательно, объяснений по данному вопросу он мог бы и не давать. Это объяснение не для следователей. В нем явное издевательство над Комиссаровым Костромским, над «царскими милостями», на него посыпавшимися. Пестерева радовало, конечно, не то, что закрыли его фотографию и тем лишили его дохода и надежды выйти из долговой тюрьмы, а то, что по рукам ходят фотографии, где Комиссаров изображен «с ослиными ушами».

И еще один раз Пестерев возвращается к Каракозову, но совсем в другой связи. Он счел нужным вскрыть в своих показаниях причины, порождающие нигилизм, порождающие каракозовщину.

Без ничего ничего не бывает,— говорит он. «Меры ко всему этому* ученью были: грубость, ругань, побои, плети, кнут, шпицрутен и всякое насилие. Ну, поймите сами,— обращается он к шефу жандармов, председателю Следственной комиссии, царю,— какое тут будет уважение. Опять нигилизм и выйдет» (л. 226 об.). «Такие-то преследования довели до нигилизма, каракозовщины» (л. 229).

Бесправие, террор, угнетение, царящие в самодержавной России,— вот причины нигилизма и каракозовщины, по мнению Пестерева, а их устранить убийством царя нельзя. В непонимании этого он видит ошибку Каракозова, за это его клеймит. А то, что Каракозов видел в царе «карателя», не хотел мириться с царизмом, в этом он прав и в этом он не одинок — так думает вся Россия.

«А что нигилизм болтает о государственных порядках, задает головоломные работы и дурно отзывается о порядках нашей жизни и о самом правительстве, так это и не нигилисты, а вся Россия-матушка болтает и настолько же недовольна правительством... Вот мой взгляд на нашу политику и вот мои понимания» (л. 229—229 об.). Но у Пестерева есть еще одно «понимание», которое он высказывает тут же. Мало «болтать», мало быть «недовольным», надо иметь партию, которая могла бы возглавить недовольных, организовать их, направить к определенной цели. Без этого царизма свалить нельзя. А партии такой нет. «Но скажу,— продолжает он,— что найди я в России серьезную и полезную для народа политическую партию, я непременно пристал бы к ней, но видя <...>, что все, что ни делается хорошего и полезного на Руси для массы и ее развития, истекает из среды правительства, я сдаюсь душой и телом в полное его распоряжение, заметив, между прочим,— не ради личных интересов, а ради правды» (л. 229 об.). Царизм победил. Ради «правды» Пестерев открыто признает это. Но он продолжает думать, что реформа не разрешила задачи, поставленной историей перед Россией. Причины недовольства масс не устранены, революция неизбежна. Пестерев из тюрьмы продолжает разяснять причину этой неизбежности. Он писал: «...а случиться <революция> весьма может,

* Пестерев говорит о мерах, которыми пользуется царизм для внушения уважения к старикам, наставникам, правительству.

да не от тех, которых сажают», а от миллионов, «которые сидят без соли-то, да под таким административным порядком...». «Я хоть и не пророк, а думаю, что недолго протянется. Потому положение ненормальное. Теперь все ждут, что будет, потому что царь обещал, а Россия царскому слову верит... А между прочим, нет-нет, да и прорвется: „Чаво-то, паря, все по-старому“» (тетрадь 5, л. 81—81 об.).

Вот из чего может всего скорее «сшиться знамя русской революции» (там же, л. 91). Из того, что «все по-старому», из того, что чернорабочая трудовая Россия с этим не будет мириться. «Не старая пора». И он кончает нить размышлений так: «А все же я посоветую, кому до этого дело есть, порассмотреть бы настоящее положение дела». Он продолжает думать, что революция неизбежна (там же, л. 82).

В 1863 г. Пестерев считал себя соучастником этой «чернорабочей трудовой» России; поэтому и говорил Шелгуновой о своей ненависти к барам так прямолинейно и резко.

Вернемся к поездке Пестерева из Сибири в центральную Россию. Отправив Шелгунову из Перми в Петербург, Пестерев через несколько дней двинулся на юг. Побывал в Саратове, Сарепте, Ростове-на-Дону, заглянул и в другие пункты, затем в Казань и в июле прибыл в Москву, но задержался здесь ненадолго и опять уехал на Волгу. Был в Нижнем Новгороде, на ярмарке, оттуда отправился в Вологду, затем «за деньгами» к родным в Верхотурье и в декабре 1863 г. вновь приехал в Москву. Гнали его дела торговые: для своей фабрики, находившейся в Иркутске, на которой впервые начали работать женщины, он покупал табак, какие-то еще товары. По его рассказам и встречи были все деловые. Так ли это? Как следует его об этом не допросили. А он промолчал. Но из ответов на другие вопросы видно, что в июне 1863 г. на волжском пароходе он в первый раз встретился с видным участником революционного движения шестидесятых годов Яковом Сулиным. Он ехал, по словам Пестерева, «на Дон», и не по своей инициативе. Он был только что освобожден из заключения, к которому был приговорен по делу «Об издании и о распространении запрещенных сочинений и прокламаций». Но и освободившись, Сулин был оставлен под подозрением в связи с делом Чернышевского и, в первую очередь, в связи с печатанием прокламации «Барским крестьянам». Он отправился под гласный надзор в назначенное ему место жительства. Едва ли он склонен был разговаривать об этом с первым встречным на пароходе, тем более, что не кончено было еще дело о служащих пароходной компании, подозреваемых в распространении нелегальных, использовании воскресных школ для революционной пропаганды. Но с Пестеревым он говорил. По утверждению Пестерева, их разговор носил такой характер: «Я трунил над новым направлением молодежи. Сулин сердился» (л. 271). Ясно, что беседа не имела ничего общего с вопросами торговли.

Во время этой же поездки Пестерев встретился с Европеусом и — в Нижнем-Новгороде — с Ворожцовым. Едва ли дело ограничилось разговорами с ними о торговле. Да и трудно было ими ограничиться, тем более находясь в Поволжье, где только что был раскрыт так называемый «казанский заговор». Ему было придано огромное значение, и дело велось с несвойственной царизму энергией. В первых числах мая 1863 г. были арестованы один за другим главные участники заговора: Н. Иваницкий, С. Я. Жеманов, А. Мрочек, Куязев. Искали остальных.

У этих людей были связи не только в Поволжье, но и на Урале и в Вологде, в Москве и в Петербурге и в ряде других городов, куда как раз в это время ездил Пестерев.

А он, как мы знаем, отправился в свое путешествие, особенно в Москву и в Петербург, не только по торговым делам, но и для того, чтобы

«ознакомиться со всеми передовыми, прогрессивными личностями» (см. л. 197).

Не успел Пестерев приехать в Москву, как к нему явились Зайцевы. Он так рассказывает о цели их прихода: «Прожив два дня в Казани, я выехал в Москву, куда только что приехал и успел остановиться на Воейковском подворье, как пришли ко мне две барыни — это были Зайцевы, дочь с матерью, и, отрекомендовавшись как знакомые Шелгуновой, от которой я слышал про них, объяснили, что Шелгунова поручила им взять забытый ею в моем чемодане чай и что Людмила Петровна теперь в С.-Петербурге, причем просили навестить их в Богородске, где они живут на даче. Вручив им чай Шелгуновой, я дня через четыре или пять поехал к ним, но не застал их дома» (д. 302, лл. 202—203). Это было в июле 1863 г.*. Ясно, что свое обещание познакомить Пестерева «со всеми передовыми, прогрессивными личностями» Шелгунова выполняла. Из Москвы Пестерев уехал в Нижний-Новгород, затем в Вологду и в декабре вернулся вновь в Москву. «Живя в Москве, — рассказывает он, — я часто бывал у моего земляка, иркутского почетного гражданина Иннокентия Никаноровича Трапезникова» (там же, л. 203—206 об.). И с ним были не только торговые разговоры. От него Пестерев получил деньги на поездку за границу. 8 апреля следующего, 1864, года он выехал в Петербург. По дороге он остановился в Твери, чтобы повидаться с артисткой Николаевой, которую знал раньше. 11 апреля Пестерев был в Питере.

Оказавшись в столице, Пестерев, не теряя времени, стал энергично осуществлять свой замысел — «ознакомиться со всеми передовыми, прогрессивными личностями».

Извлечем из обширных показаний Пестерева о его петербургских знакомых несколько отрывков.

«В это же время я вошел в семейство Зайцевых; в матери Зайцевой я нашел женщину весьма мягкую, добрую и симпатичную старушку, любящую своих детей до страсти, а в дочери ее молодую, хорошенькую и очень развитую девицу, в сыне же труженика; он тогда работал для „Русского слова“ и дирижировал изданием перевода Шлоссера; сестра нередко пособляла ему держать корректуру и занималась английским языком. В доме у них бывала молодежь, а именно: Ковалевский, который имея у них стол, а вечером иногда собирались Яков Сулин, Орлов, Завонский. Я знал, что Варвара Зайцева замешана по делу о бегстве Кельсиева и что дело производится в Сенате, что мне казалось весьма оригинальным — девушка шестнадцати лет участвует в политическом деле. Знал, что Сулин сидел в крепости и выпущен; но обо всем этом разговора не было — он больше касался литературы, корректуры и о прочем издательском деле, иногда же были рассуждения о женском труде <...> Впоследствии же содержанием разговоров упомянутых выше лиц были также рассуждения о полемике, возникшей между „Русским словом“ и „Современником“, т. е. говорилось о Пыпине и Антоновиче» (там же, л. 203—208 об.).

Марья Федоровна мне предложила познакомиться с Маркеловой, рекомендуя ее как ближайшую приятельницу Шелгуновой» (там же, л. 209). Пестерев сообщает, что Маркелова работает в «С.-Петербургских ведомостях», «основала коммуну, которая уже распалась и над которой еще в то время подтрунивали» (там же, л. 209).

Этими знакомствами дело не ограничилось. Пестерев познакомился с Головачевой и с известной «нигилисткой» Макуловой. Маркелова, по

* Зайцева выехала из Москвы в Петербург 20 июля 1863 г. (III Отд., 1-я эксп., д. № 97, ч. 70, л. 352). Она принимала участие в организации побега Кельсиева, к чему имели отношение члены московской группы, арестованные и посаженные в крепость в сентябре 1863 г.

его утверждению, жаловалась ему на то, что у нее «ничего не выходит». «На это я ей объяснил, что именно теория фурыеризма, если не нелогична, то — утопия, что надо пятьсот лет времени, чтобы привить ее к нравам, к самому у нас воспитанию, так как все складывается вследствие известных только условий, а склеить из ничего что-нибудь вследствие одного размышления и фантазии можно только на бумаге, на которой оно, пожалуй, выйдет и хорошо, а на деле-то кавардак, как и ваша коммуна; что жизнь и работа артелями — вовсе не новость, что это искони русское достояние, не переводящееся и сейчас, что у нас артелями на разбой ходят и на заработки...» (там же, л. 210—211). «В доме Зайцевой я познакомился с матерью и сестрою Шелгуновой, которые и просили меня, зная, что я еду за границу, отвезти к Шелгуновой ее старую кухарку, на что я согласился и выехал из Петербурга за границу за день или за два до конфирмации Чернышевского на площади. В кружке, с которым я был знаком, шли речи об этом, но, насколько я замечал, больше с обыденной стороны, как к знакомому, а не как к политическому деятелю и как к собрату по ремеслу <...> Через Зайцева я познакомился с Благовосветловым, с целью, чтобы через „Русское слово“ говорить о сибирских делах» (л. 211—211 об.).

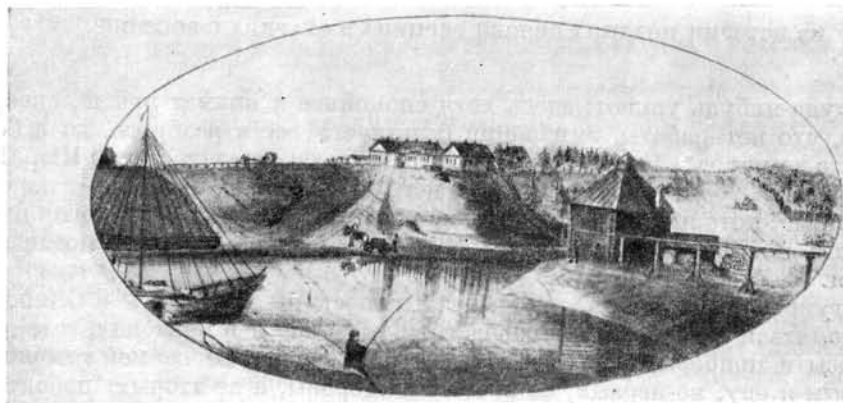
Так накануне поездки Пестерева за границу Зайцева познакомила его со многими своими знакомыми и знакомыми Шелгуновой. Мысль сойтись со всем этим кружком, возникшая, по утверждению Пестерева, во время разговора с Шелгуновой, оказалась в какой-то мере осуществленной.

Для новых знакомых Пестерева — участников демократических кружков Петербурга — не было секретом, что он едет за границу: мать Шелгуновой дала ему поручение отвезти кухарку. Только ли она давала поручение или давали и другие, только ли это поручение дала мать Шелгуновой? Пестерев об этом не сказал, а Следственная комиссия его не спросила. Во всяком случае, к моменту отъезда за границу он был хорошо осведомлен о политическом положении страны, о том, что делалось в литературных кругах, о том, что думали и делали люди, связанные с Чернышевским, Серно-Соловьевичем, Шелгуновым, Михайловым, Утиным. А мысль использовать Пестерева не только для доставки кухарки Шелгуновой могла возникнуть у новых знакомых, и могла она казаться очень удачной, так как в преданности Пестерева никто не сомневался, и существовала уверенность, что за ним не следят.

Когда Пестерев выехал из Петербурга, точно установить не удалось. Это могло быть 17 или 18 мая 1864 г. («за день или за два до конфирмации Чернышевского на площади»)*. Как уже было упомянуто, ехал он в сопровождении переводчика Вильгельма Лапре. Первая его остановка была в Берлине. На другой же день он выехал в Швейцарию, в Цюрих, так как «не прочь был от знакомства с эмиграцией» (там же, л. 244). В Цюрихе в это время находилась Шелгунова, у которой он и остановился.

«У Шелгуновой, — показал Пестерев на допросе в канцелярии московского полицмейстера 17—30 октября 1866 г., — я встретил Серно-Соловьевича и Черкесова. Серно-Соловьевич жил в Цюрихе, приехав с вод; он был больной, раздражительный и собирался ехать опять на воды. Черкесов занимался в цюрихской технологической школе. Шелгунову я нашел не такую, как она была в Сибири — живая, мыслящая и работающая: она как будто опустилась; больным ее ногам было если не лучше, то и не хуже. Заговорили о России, думает ли она вернуться? — говорит: „Можно, боюсь только неприятности будут. Николай Васильевич <Шелгунов>

* В другом месте своих показаний (л. 244) Пестерев сообщает, что он выехал за границу «т. е. после святой», т. е. в двадцатых числах апреля, так как пасха была в 1864 г. 19 апреля.

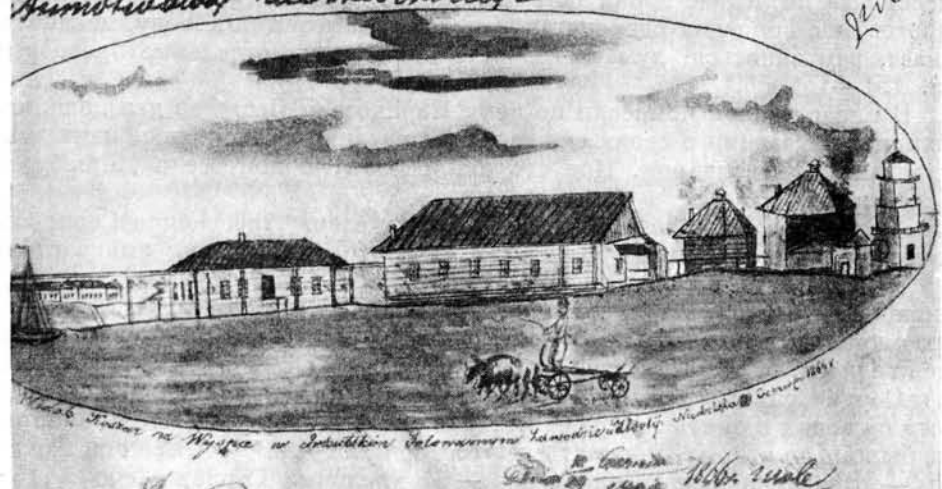


Записки Казанского. 3



мемуары ^{на Катрыла} В. В. Восточной Сибири для надзора ^{на Катрыла} за работами
 на селениях - для передачи ^{на Катрыла} в поселенцы
 Антоновского, Казанского и -

216



ВИДЫ СОЛЕВАРЕННОГО ЗАВОДА (УСОЛЬЯ). СЮДА ЛЕТОМ 1864 г. БЫЛ ПРИВЕЗЕН
 (В ОКОХ) ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ КАТОРЖНЫХ РАБОТ

Рисунки Сг. Катрыла, находившегося на каторге вместе с Чернышевским. Были сделаны в письмах
 ссыльных каторжан к товарищам и задержаны III-м Отделением

Центральный исторический архив, Москва

сидит, куда-нибудь ушлют; здесь хотя спокойнее и климат лучше, скверно одно, что нет работы, эмиграция бедствует, всё в разброде, да и бог знает, что за народ“. На вопрос, кто здесь есть, она сказала, что в Цюрихе живет Якоби, больной, но она у него не бывает. В Женеве живет Касаткин, с которым она не в ладах, и что больше никого нет, что много поляков, но они хотя бедствуют ужасно, а с русскими не сходятся.

Шелгуновой я объявил, что мне хотелось бы побывать в Женеве и ознакомиться с часовым производством, а также и в кантонах, где делают часы и приборы, а также хочу быть у Герцена, но что мой товарищ, с которым я еду, во-первых, не знает той стороны, а во-вторых, побоятся ехать, край же тот любопытно посмотреть, да посещение мое Герцена может быть полезно, по крайней мере в том отношении, <что> остановит писание некоторой ерунды, которая не столько пользы, но скорее вред приносит, и все оттого, что он не знает настоящих дел России. Шелгунова стала просить Черкесова, чтобы он съездил со мною по кантонам и в Женеву. Лапте я сказал, что поеду в кантоны и вернусь в скором времени, то чтобы он пожил в Цюрихе до моего возвращения; так мы и поехали с Черкесовым». Приехавший по торговым делам за границу Пестерев, оставив в Цюрихе своего спутника, начал знакомиться с русской политической эмиграцией» (л. 151).

«Приехав в Женеву,— продолжает Пестерев свой рассказ,— я познакомился с Касаткиным, был у него в доме. Касаткин — москвич, библиофил, собирает всякие старые или редкие книги и ужасный оригинал; бывало, ходим с ним по улицам Женевы ночью, и как только я обращаюсь к нему громко по-русски, он начинает останавливать, чтобы тише говорил. Ему все казалось, что за ним подсматривают и подслушивают. Жена его — весьма милая барыня. У них в доме я познакомился с Утиным Николаем, кажется, также эмигрировавшим из России, с девицею, фамилию которой позабыл,— его невеста. Утин жаловался, что у него нет никаких средств к жизни, что он жил в Лондоне и некоторое время писал в „Колокол“, что Герцен предлагал ему взять и вести „Колокол“, но он это нашел неудобным; что Герцен, впрочем, будет писать, тем более, что из России за последнее время нет никаких сообщений; что во взглядах на многое он с Герценом расходится, а потому и выехал в Женеву, но еще не знает, чем заняться, думает издавать для России отдельные брошюры» (л. 151—151 об.).

В Следственной комиссии по делу Каракозова Пестерев дал дополнительные показания о своих сношениях с русскими революционными эмигрантами в Швейцарии. Вот что он показал на допросе в Петербурге 7 сентября 1867 г.:

«Когда я в Цюрихе обратился (в присутствии Александра Серно-Соловьевича) с вопросом к Шелгуновой: много тут русских эмигрантов? что поделявает Герцен с своим „Колоколом“?— она отвечала, что русских — пропасть. „Куда ни пойдешь, непременно наткнешься на соотечественника. Есть и эмигранты, но все они живут по углам и друг с другом не сходятся. Я решительно из русских здесь ни с кем не знаком, кроме вот Серно-Соловьевича и Черкесова, который живет у меня, а Соловьевич был на водах и опять завтра едет. Не знакомлюсь потому, чтобы сплетен не было, а во вторых, признаться, что мне и надоело“. — „Все они подлецы,— отозвался резко Соловьевич.— И хваленый Герцен с своим „Колоколом“ и старыми взглядами гроша не стоит. Тут надо свежие, молодые силы. Вот, как у Чернышевского. А то эти два старые засели в Лондоне у станка на коврах, да и хвалятся: „Мы-де дело делаем“. А какое чорт-те дело! И листка-то своевременно не издадут. Здесь вот по месяцу не получается. Да и что они двое-то наработают? Огарев крестьянский

вопрос тянет, Герцен со своими шуточками. Все они никуда не годятся. Вы нам привезите Чернышевского — так мы покажем, что можно сделать“. — „Далеко, мол, ехать“, — было моим ответом» (д. 302, л. 256). Так впервые, еще до отправки Чернышевского в Сибирь, был поставлен вопрос о его освобождении. В Чернышевском видел Александр Серно-Соловьевич человека, который мог сплотить силы эмиграции, направить и организовать их борьбу.

«Когда Серно-Соловьевич вышел, — продолжает Пестерев, — и мы остались одни <с Шелгуновой>, то я спросил: „Что значит такой его резкий тон?“ — „Да он ведь не совсем здоров. Теперь еще ничего, а до поездки на воды совсем был помешан. Раздражителен он ужасно. Вы, пожалуйста, говорите с ним осторожно. А что в „Колоколе“ действительно ничего нет, да правда, что и на глаза редко попадается, точно как будто его не существует“.

При встрече с Утиным в Женеве я спросил, как и чем живет и что делает? Он отвечал, что живет плохо, что почти без средств, что отец ничего не посылает. Первое время жил у Герцена, который предлагал передать ему „Колокол“ и станок, но он не согласился, потому что не разделяет мнений по программе изданий с Герценом и что вот выехал в Женеву с предположением издавать свой журнал, что средства он надеется достать от Касаткина и что программа его журнала совершенно противоположная „Колоколу“, что он будет больше рассчитывать на сбыт в Европе, так как русских за границей бывает и живет немало, а газеты русские по случаю пошлины дороги, то если издавать газету, собирая статьи из русских и иностранных газет и имея оригинальный личный отдел об России в свободно-умеренном духе, тогда может пойти и в Россию на правах, как идут иностранные газеты. И если какой-нибудь номер и остановили бы, не пустили в публику, то об нем бы узнали, кому ведать надлежит, то есть власти, а то, что же теперь „Колокол“? Его никто не видит, да и Герцен устарел и упорно смотрит глазами сороковых годов. Для него и Россия и правительство как будто те же, когда на самом деле совсем другое время и другие обстоятельства» (там же, л. 256 об. — 257).

В Женеве Пестерев пробыл два дня и выехал затем в Англию к Герцену. Проводил его в Лондон, по его просьбе, Черкесов. Герцену Пестерев отрекомендовался, «как знакомый Бакунина по Сибири» (там же, л. 252). Рассказ Пестерева о его встречах с Герценом представляет выдающийся интерес, и мы приведем его полностью.

На допросе у московского обер-полицмейстера Пестерев показал: «Из Женевы после этого я отправился в Лондон и остановился в предместье, где жил Герцен *. Квартира у Герцена барская, мягкая отличная мебель, комфорт и прочие житейские удобства. На пороге встретил меня пожилой человек, служитель, русский, который обрадовался, услышав русскую речь; объявил, что Александр Иванович уехал в Лондон, а Огарев ушел гулять и скоро вернется. Мы вошли в комнаты, и нас встретила премилая девочка, лет восьми, весьма любезно и ласково. Чрез несколько времени пришел и Огарев, повидимому еще не старый, но с болезненным оттенком на лице (я узнал после, что он страдает падучею болезнью). Он распорядился чаем, к которому вышла m-me Огарева. Мы рекомендовались. Она, видимо, обрадовалась посещению русского. Принесли самовар. И вот и самовар русский, что вы здесь редко встретите. Разговор начался общий, откуда и нет ли общих знакомых; как живут в Сибири, где Михайлов, что Чернышевский, как крестьянский вопрос, лучше ли мужикам? Огарева жаловалась, что ее беспокоят дети, что

* В Теддингтоне. Герцен жил здесь с 1 до 15 июня (нов. ст.) 1864 г. — В. III.

будут воспитаны не в России и что надежды вернуться в Россию нет никакой, а вследствие этого воспитания дети ее, при такой обстановке, будут какими-то отщепенцами, не будет у них любви к родине.

В это время подошел Александр Иванович Герцен. Он принял нас с распростертыми объятиями. На мой взгляд Герцен — чистое типическое лицо русского человека, — человека, как говорится, бывалого, ловкого, что называется с подходцем, а за словом в карман не полезет, что ни слово — то острота и добродушная ирония.

Вообще Герцен собеседник увлекательный и располагающий в свою пользу. Он крайне симпатичен. Встречаясь с ним, вы как будто чувствуете, что век знакомы; ну, куда бы судьба ни забросила такого человека, он всегда будет, как говорится, впереди и свой. Мне он представляется так: попади он на вечеринку деревенскую и пойдй вприсядку, все от него будет в восторге; попади он в подорожные, непременно будет атаманом с рыцарскими замашками, с юмором отмочит какое-нибудь коленце. Лучше я описать типа Герцена не умею; русская распушенность и добродушие смешаны с энергией и не то <что> со злобою, а какою-то злою, непоколебимою удаляю, которая подчас расплатится и при виде царяины, <но> не дрогнет собственной рукою прирезать кого хотите. По приходе он совершенно завладел речью, рассказывал о недавнем посещении его Гарибальди, об обеде, бывшем у него для Гарибальди, подтрунивал весьма мило по этому поводу над англичанами, как те по приходе обставили Гарибальди, чтобы не допустить к нему всех. И как он чуть не самодёром юпал к Гарибальди — по милости настойчивости и громкого голоса, — который подозревал Герцена и согласился или напросился у него обедать, не помню. Какую овацию устроили лондонские рабочие, собравшись массою на дороге от Лондона до его квартиры, когда проезжал Гарибальди, и в каком комическом положении была лондонская полиция, когда Гарибальди обратился за столом к Маццини со следующими словами: „Если я сделал что-нибудь для народа, то обязан своему учителю Маццини“. Что когда Гарибальди обратился с речью к нему, Герцену, то он, Герцен, от волнения не мог ответить и послал на другой день к нему письмом. Огарева добавила, что когда шел Гарибальди, то женщины приподымали ребятишек и хватали за шарф. В таких разговорах прошло время до ужина. За ужином Герцен, поднося мне абсент, заметил, что здесь вино не такое, как в России, а крепкое. Я ему отвечал, что он ошибается, что Россия теперь не та, а что у нас вино тридцать восемь градусов. Герцен расспрашивал о Петрашевском, объяснял, что семья его <Герцена> — две дочери и сын — в Венеции, что одна из дочерей занимается живописью, а сын весь погрузился в ученость, и вспоминал о Вятке.

После ужина мы с Герценом остались одни, и разговор принял серьезное направление. Герцен возбуждал вопросы такого рода: что Россия? как администрация? что крестьянская реформа? что печать? что молодежь? Какая причина, что прежде ему от русских посетителей покоя не было, а в последнее время его как бы все оставили? Что „Колокол“ не расходится, что думают в России насчет Польши и какое вообще направление общества?»

Герцена, таким образом, интересовали все основные вопросы русской жизни. И на них ему должен был ответить Пестерев. Пестерев мало, скупо передает, как Герцен сам отвечал на поставленные вопросы, но довольно подробно излагает свои ответы Герцену.

«Я на все эти вопросы отвечал нижеследующее: что Россия ничего; что покуда еще разговоры ведем и дел еще мало; что крестьянское дело идет и, по моим понятиям, должно окончиться в их пользу не потому, что, как говорят, им мирволят посредники, и не потому, что за них наши доморощенные либералы, пишущие прокламации „о земле и воле“, из чего

подымается громадный шум, воображается какая-то громадная революционная партия, а в конце концов оказывается до десятка человек, да и те руками и ногами отмахиваются и говорят: „Не мы-де“. Мужики не доверяют господам и чиновникам, несмотря на то, что многие помещики предлагают весьма выгодные условия, чтобы только развязаться с ними, артачатся и, естественно, хлопочут, требуя еще больших выгод. Из этого возникают иногда смуты и бунты, вроде описанных Якушкиным в „Современнике“ под рубрикою „Велик бог земли русской“, но таких ужасов, как пипется у вас в „Колоколе“, нет, а просто выходит глупость и шум, делаемые нашими административными мерами. В большинстве же и на практике дело идет так: помещики неспособны да и средств не имеют, чтобы пользоваться излишнею землею от надела, а потому и стараются спустить ее; продавать ее можно только тем же крестьянам и не в значительных случаях разночинцам; поэтому мужики покупают почем хотят или отдельно, или складчиной, покупают не торопясь, ибо сметили, что кроме их купить некому, а самому барину обрабатывать вольнонаемным трудом не приходится; многие бары свои даже усадьбы побросали, оставили или передали крестьянам; по крайней мере, так в Вологодской губернии, где я жил и видел все близко; помещики бросились было на винокурение, но конкуренция и неспособность их делать дело привели только к затрате денегжонок; начали теперь и их бросать. Мужики, где только позволяет местность, пустились в торговлю, чем вытесняют купеческое и мещанское кулачество на крестьянское кулачество, которое, во всяком случае, полезнее. Это делается в деревнях. Относительно денежных повинностей — мужикам тяжелее, но это заставит их хлопотать, быть внимательнее к делу, вести его разумнее и искать средств в промысле, — это, одним словом, развивает их, призывая к усиленной деятельности. Ожидаются земские учреждения. Из деревень вытесняют мироедов и взяточничество. На города реформа действует иначе; помещики, сосчитав правильное свои доходы, не имея кредита и наличных денег, кроме выкупных свидетельств, зажили умереннее на остатках, которые проедают, не умея ничем заработать, кроме государственной службы. Государственная же служба в последнее время не дает тех доходов, какие предоставляла прежде; с одним уничтожением откупов сколько потеряно! Сами чиновники как-то боятся и застыдились отчаянного казнокрадства, воруют далеко умереннее, да и народ давать взятки перестает, считая это священнозаконною обязанностью; а эти данные уменьшили доход от государственной службы, а когда будут введены новые гласные суды и мировые учреждения, то доходы, кроме прямого жалования, иссякнут вовсе. Уменьшение доходов помещичьих и чиновничьих повлияло и на купечество: собственно городская торговля упала в цифре и само потребление предметов изменилось да изменились и барыши купечества. Преждешло более предметов роскоши. Покупатели легко нажитыми деньгами не дорожили, цен не знали, поэтому бери, что хочешь. Теперь более идет предметов необходимости, в которых, при частом употреблении и расчетливости каждой копейки, лучше и зря втридорога не возьмешь.

При известном общественном развитии в массе публики заявила потребность во многих таких вещах и предметах, на которые прежде спрос был незначительный. Приготовление же этих предметов не увеличилось, по дурной нашей промышленно-ремесленной, заводской и земледельческой технике, а вследствие этого стала дороже и самая жизнь; на этот экономический кризис у нас взглянули как на политический. Итак, жизнь вздорожала еще и от образовавшегося осадка дворянства, чиновничества, частию мещанства и детей духовенства, не имеющих собственных доходов, службы и определенных занятий. По воспитанию не

приученные к практическому занятию, которое бы дало приличное насущное пропитание, а у папенок и маменек питаться они привыкли больше белым хлебом, и поэтому и заработок от них потребовался высшей стоимости, чем прежний или крестьянский, среди которого довольствуется хлебом с мякиной и не всегда с солью,— крестьянин довольствуется лаптями и сермягой, городской обыватель-мещанин — грубым сапогом, дешевым туфлом и хлебом без мякины, каждый день солью и чаем; для таких неприхотливых потребителей было достаточно самого незначительного заработка, кое-чем и кое-как вспаханной земли, поденной мужской работы за 30 коп. на своем содержании и женской — за гривенник; для городского же жителя и его семьи нужен другой заработок — заработок маклачением, кулачеством, мелочным торгом дешевеньким материалом и мастерством, как шитье сапог, женщинам — шитье белья и платья, мытье полов, стирка белья,— хотя плохо, но все-таки удовлетворяет их потребностям. Но люди, вскормленные белым хлебом, выучась грамоте и еще кое-чему и кое-что вычитав, естественно, имеют потребность и лучше есть, и чище одеться, и не быть битым насильственно-правовенно. Практика же их жизненной деятельности по одностороннему, если можно так выразиться, нереальному воспитанию, этого не давала и даже повседневных требований не удовлетворяла. Люди стали втупики: что же это значит? и хороший я человек, и не глупый, и не крайне требовательный в жизни, а все живется скверно, да и кругом скверно; 30 миллионов населения не всегда соль имеют, о мясе и говорить нечего. Везде грязь и бедность материальная, грязь и бедность, ложь и разврат нравственный. Зачем же и отчего в других местах лучше живут? А верно там правительство лучше, все зависит от правительства, а наше ничего не делает полезного для народа, дай разберем его порядки управления, и оказалось при разборе точно скверно. Как же заявить этого дела не позволяют? Поедем за море, есть там такой человек, все напечатает; ну, и поехали сначала, из потребы, люди дельные, а за ними всякие из моды, чтобы похвастать, что и мы-де не лыком шиты, вот и валило к вам народу; а как стало на Руси помаленьку дозволяться писать да говорить о своих же недостатках, стали обещать их исправлять да применять на самом деле к практике, явилась крестьянская реформа, а за ней судебная, свобода слова и мысли, ну, дельные люди и остановились ездить к вам и занялись дома, на модных же прикрикнули, и те отстали, ездить не смеют. А вот мне пришла насущная надобность видеть вас, я и поехал, не боясь ответственности,— заявить вам, что теперь вопрос России экономический, но не понятый и не уясненный, и что всякое действие вне этого вопроса принесет для России только вред, а не пользу. Настоящее направление вашего „Колокола“ для России устарело, руганья и административных обличений довольно с нас и в нашей журналистике, нам уж это надоело. Девять рублей за ваш номер никто теперь не даст, потому он и идет худо, да и продавать вы не умеете, у вас и за границу я видел в одном только месте, где мне его открыто сунули в руку, а то все надобно идти и спрашивать в книжных лавках, хотя бы и здесь в Лондоне, и кто мне поручится за то, что тут где-нибудь вблизи нет агента от нашего правительства и по возвращении на родину мне за это чтение не достанется? Что же касается польского вопроса, то массе публики до него нет дела. Выражаются обыкновенно так: „Опять поляк бунтует“; другая часть: „На какого нам дешего эта Польша?— только разорение одно; что они ее не отдадут? ну их совсем, живи они как знают“; истые, но бестолковые патриоты кричат, что все и в России движется скверно от полонизма, что полонизм растлевает молодежь и если не вырвется с корнем, то мыдоживем до революции и анархии. Часть общества сочувствует Польше, но тоже по-своему, оставя именно националь-

ность, и сочувствует просто, как за людей, что вот-де за привязанность к родине умирают, идут на каторгу, теряют состояние; наслали к ним туда наших чиновников да таких-то, что и нам-то не годились, а там поди что они делают? Мой личный взгляд на эти дела такой—это было года два назад,— что Польша своими восстаниями будет тратить и свою и нашу кровь и останавливать свое и наше прогрессивное движение к экономическому благоустройству их самих и нас, что Польша всем этим будет только <увеличивать> народонаселение Сибири, а мы его тоже израсходуем безалаберно, без пользы для края; это я основываю на таких данных, что полякам с нами не справиться — мы всегда их придавим, а поляки ни за что не отступят, что возмущение 1830 года было чисто аристократическое, настоящее возмущение будет* барское и мещанское, а поэтому и народа к нам <в Сибирь> прибудет больше; в следующее же — еще больше, потому что выжвется крестьянское; по-моему, один выход — примирение, но на чем оснуется — ничего теперь сказать нельзя, да это не моего ума дело — я человек настоящего, и моя задача экономическая, на политику я смотрю как на мешающий элемент в экономике — или совсем, если возможно, устранить ее, пусть она идет сама по себе, а экономический вопрос сам по себе, но, к несчастью, этого нельзя, и невольно приходится впутываться в политические дела и события. Печать наша, грешным делом, возбуждает вопросов кучу, а разрешать их не умеет. Всею причиною, что публицисты наши — народ непрактичный, жизни русской не знающие, теорий нахватались отсюда и сыплют ими и вправо и влево. Так, „Современник“, понав всех вернее на требование России вопроса экономического, не умеет объяснить этот вопрос, пускается в социализм и коммунизм, накидывается на дворянство, на собственность, ругает администрацию. „Весть“, по силе возможности, защищает и собственность, и дворянство и тоже, в свою очередь, ругает администрацию. „Русское слово“ пародирует „Современник“ и с ним непременно поругается (что и было по вопросу о Базарове).

Московские публицисты, вооружась броней патриотизма, кричат на „Современник“, „Русское слово“ и на всю петербургскую журналистику, что эти люди — зловредные безбожники, полонисты, что они хотят погубить Россию, и ругают администрацию до неприличия, даже Валуева заподозрили. После моего уже разговора с Герценом во главе революционной партии и Константина Николаевича заподозрили в измене. Вообще хаос в русской журналистике неподражаемый, и из всего этого выйдет то, что в один прескверный день скажет им правительство „Молчать!“, и дело печати пойдет вспять (пророчество мое сбылось), а тогда понадобится ваш „Колокол“, но чтобы он принес истинную пользу, для этого нужно, чтобы русская эмиграция жила не разбросанно, а вместе, чтобы было кому писать; сбор вместе нужен и в том отношении, что у нас экономический вопрос принят за политический, поэтому начнутся всякие преследования, явятся эмигранты и ссыльные; эмигранты по большей части без средств и умения приобрести и заработать, поэтому для них необходимо просто мирное занятие, но хоть некоторым предоставить исполнять корреспонденцию для наших газет,— ведь все равно пишут же и получают за труд теперешние корреспонденты, и пусть издадут русскую газету, прямо русскую, перепечатывая новости из русских газет; русских теперь много ездит за границу и живут через дороговизну, да не везде есть русские газеты, а для многих было бы полезно и интересно знать, что делается в России, и такая русская газета пойдет непременно и даст многим хлеб, могут заняться здесь покупкою для России и продажей ее произведений за границу — по крайней мере, положе-

* В рукописи: было

ние их будет обеспечено и <голодать> не придется, — как рассказывают, в Савойе умер какой-то русский эмигрант от нужды; что же касается положения ссыльных в Сибири, то я приму все меры, чтобы сделать как можно сноснее их материальное положение, и что у меня для этого мысль организовать торгово-промышленную компанию и тем самым дать работу как ссыльным, так и этим ищущим лучшего экономического положения, которых приняли за революционеров, и что, собственно, в России нет, да и быть не может, говоря серьезно, никакой революционной партии, что Россию нельзя ставить на одну ногу с другими государствами Европы; у ней свой взгляд, своя жизнь, и она пойдет своим дельным путем к развитию и благосостоянию; сила обстоятельств возьмет свое, и ее надо только поддерживать, но отнюдь не насиловать по придуманному плану воображения.

Герцен согласился со мною во многом, сомневаясь в исполнении моего предприятия, во-первых, оттого, что на него никто не даст гроша, — что всего более относительно Сибири интерес поляков, но они изверились в русский либерализм, так как их на каждом шагу обманывали. Такие у меня разговоры с Герценом велись вечера четыре, тут же я вспомнил об отделении Сибири и спросил, не получил ли он чего, и как я предполагал, он ничего не получил, а потому я и просил, что если что получит, то чтобы не печатал и не придавал бы такому сведению никакого значения, что это ерунда и что такие слова приносят только вред краю, что вообще из <!> корреспонденции из России он должен быть крайне осмотрителен, ибо можно нагородить вздору, который другим будет стоить недешево. Он согласился и сказал, что теперь никакой почти корреспонденции из России не получает, так что иной раз и листка напечатать нечем и приходится писать ему или Огареву...» (д. 302, лл. 151 об. — 160 об.).

Во время разговоров с Пестеревым Герцен поставил перед ним вопрос о Чернышевском, о возможности организации его побега из заключения. «При разговоре с Герценом об увозе Чернышевского я сказал:

1) что хотя дело не ахти для меня мудреное, но я за него не возьмусь, во-первых, потому, что тут, то есть в Лондоне, ему Чернышевскому> ровно нечего делать и что для него будет хуже. Там, по крайней мере, конец один, а здесь опять мұка; вы сами знаете, каково это положение, а у вас еще все средства к жизни, а у него ничего нет, дожидаться же пособия трудно — теперь шумят, а пройдет год-другой и забудут ребятишек на ноги поднять, 300 рублей не дадут; там хоть казенное содержание (смеюсь), а здесь и того не будет, да и я, вмешавшись в это дело, могу погубить свое, от которого, думаю, будет больше пользы, чем от всех писаний Чернышевского*; 2) что, пожалуй, и можно бы было найти кого-нибудь для исполнения, положим, что нашелся бы человек, готовый рискнуть собою, потому что все же тут риск: может, удастся, а может и нет; захочет ли, наконец, сам Чернышевский рисковать, потому что неудача в побеге пахнет расстрелянием; ну, положим, все захотят и даже не попадутся, что будет с семьей, кто будет воспитывать детей? Ведь небось никто 20 тысяч в ломбард не положит. — „Да“, — сказал Герцен. Тем разговор об увозе Чернышевского и покончился» (там же, л. 161—161 об.).

Если бы это было и так, если бы на этом разговор действительно кончился, то все же он очень важен, и не только потому, что он показывает,

* На полях у этого места карандашом рукой одного из руководителей III Отделения: Об увозе Чернышевского. Когда это было? Московская организация задумала о Чернышевском в 1865 и 1866 гг. Запросить Пестерева: кому принадлежит мысль об увозе Чернышевского и кому он ее сообщал по возвращении в Россию. Худяков указывал на помощь Пестерева. Почему?

как Герцен относился к Чернышевскому, не только потому, что вопрос о побеге Чернышевского Герцен ставил уже в мае 1864 г., в дни гражданской казни Чернышевского, но и потому, что вопрос этот Герцен ставил конкретно. Речь шла не вообще о пожелании «увоза» Чернышевского, а намечался план увоза.

Один раз Герцен разговаривал с Пестеревым о Чернышевском или несколько? Пестерев не сказал. Но в ответах на вопросы о «Колоколе», предложенных Следственной комиссией по делу Каракозова, он сообщил ряд дополнительных подробностей.

«Когда Герцен спросил у меня, что говорят в России о „Колоколе“ и о нем, я отвечал, что последнее время Россия „Колокола“ не видит почти, а на смену вас у нас есть свой публицист, которым увлекаются,— это Чернышевский. „Колокол“ ваш уж для нас плох, а главное, мода на вас прошла.— „Да, это я вижу,— было мне ответом.— Ни посетителей у меня последнее время нету, и издание совсем нейдет: хоть бросай. Сведений из России тоже не получаю, даже журналы и газеты запаздывают, да и работаем только вдвоем с Огаревым. Он же больной, что тут сделаешь? Сын у меня совсем ученый, политики просто не понимает. Предлагал было Утину, тот отказался. Как же тут винить меня? Пусть придет Чернышевский, я с руками передам ему мой станок. А что, ведь от вас уйти можно? Бакунин ушел же?“— „Рискуя головой, чего нельзя? Но не всем бакунинское счастье! Того ведь сами в порт сдали да на своей лодке и на американский пароход перевезли“.

Огарев о Чернышевском ничего не говорил, но на дурное положение „Колокола“ жаловался. Из всех вышеизложенных данных я вывел такое заключение, что если таковая мысль западает Герцену в Лондоне, то может запасть и в России, и хоть я был почти уверен, что в исполнение она не приведет, но могут быть поштыки или даже просто болтовня. Но все же для моего дела она вредна, и я решил, насколько смогу, выследить и помешать» (там же, л. 257 и об.). О том, как Пестерев, вернувшись в Россию, пытался «помешать» увозу Чернышевского, мы скажем ниже, а сейчас закончим рассказ о заграничном путешествии Пестерева.

В Лондоне Пестерев пробыл, как он показал, четыре дня (там же, л. 252). Внимание к нему Герцена не ограничилось домашним гостеприимством. «Герцен,— сообщает Пестерев,— показал мне типографический станок, наделавший столько хлопот и неприятностей нашим властям. Сводил в книжную лавку, где торгует поляк, фамилию забыл, всеми запрещенными книгами, из которых я не взял ни одной, кроме песенника, который, впрочем, я приобрел еще в Женеве от Утина» (там же, л. 161 об.).

На обратном пути из Лондона Пестерев остановился на несколько дней в Париже. Здесь он познакомился через Черкесова (повидимому, соучастовавшего ему во все время лондонской поездки) с В. Ф. Лугиным (л. 245) и несколько раз побывал у него, затем у Ленца и Олибера, которых знал по Сибири, и, наконец, у Е. В. Салиас. Затем через Швейцарию Пестерев уехал домой, в Россию. В Женеве проездом он вновь виделся с Касаткиным и Утиным. Об этом заключительном этапе своего путешествия Пестерев дал очень скупые показания:

«Из Лондона я проехал в Париж, где познакомился с одним русским молодым человеком, фамилии не знаю, знаю только, что он изучал французские ассоциации рабочих и где-то чему-то учился, чуть ли не математике. Через день я выехал из Парижа, опять в Цюрих, где нашел моего товарища Лапре в самом грустном настроении от неизвестности, куда я девался. Я наврал ему не помню уже что и, проживши дня два или три в Цюрихе, выехал с ним в Париж (...) В Париже из подозрительных

лиц ни с кем не виделся, разве, если можно назвать подозрительным лицом, виделся с графиней Салиас, у которой был один раз. Старуха с пучошками, тоскует о сыне, что сын скучает и уехал куда-то прогуливаться, ахает, какое-де грустное положение польской эмиграции, что ее отовсюду гонят и что у ней даже приличного платья нет! Погоревал я с ней вместе и ушел. Из Парижа я проехал в Женеву и остановился в гостинице и, зная, где тот трактир, в котором постоянно играет на биллиарде Касаткин, пришел туда и действительно нашел Касаткина играющим с дьячком русской церкви; зная его боязливость и шопот во время прогулок, я выждал, пока он сам не подошел ко мне и не увел к себе; был потом у Утина, который просил похлопотать у брата о высылке ему денег, и тут же объявил ему мои впечатления, что вся эта эмиграция мне крайне смешна и глядит в разные углы, что даже закваски никакой нет, а так — бросила судьба людей и живут день до вечера. Тяжело и грустно. Наутро я выехал в Россию.

Утин проводил меня до моста...» (лл. 161 об.—162 об.).

В Петербург Пестерев вернулся в июне 1864 г. Общие «впечатления» из всего виденного и слышанного им в русских эмигрантских центрах Западной Европы он изложил перед следственными властями в следующих словах: «Я вывез из-за границы <...> убеждение, что никакой серьезной противоправительственной русской партии за границей нет и что все эти люди — болтуны, опустившие крылья, и в моем предприятии полезными быть не могут» (там же, л. 162 об.).

Но Пестерев вывез из-за границы не только «впечатления»; он вывез деловые планы и поручения. О некоторых из них он упоминает в своих



О. С. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ
Фотография, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

показаниях властям, хотя и очень скупо, о других, вероятно, умалчивает, третьи тщательно маскирует политически безобидными и даже благонамеренными версиями.

Наиболее важное дело, план которого был разработан Пестеревым за границей, с участием или даже по инициативе Герцена и Серно-Соловьевича, было связано с замыслом освобождения Чернышевского.

За выполнение этого замысла Пестерев принялся, как только вернулся в Россию. О предпринятых им практических мерах он рассказал в своих следственных показаниях, но рассказал так, что придал этим мероприятиям смысл, диаметрально противоположный тому, какой они имели в действительности. Такой эзоповской манерой, кстати сказать, были изложены Пестеревым и его приведенные выше разговоры с Герценом. По-иному Пестерев излагать и не мог. Он писал не воспоминания о былом, а следственные показания о живых людях. Он писал их в тюрьме, по требованию властей, и хорошо знал, что от того, как он их пишет, зависит дальнейшая судьба этих людей и его собственная. Пестерев привлекался по делу о намерении «освободить из каторжной работы государственного преступника Чернышевского». Он понимал, в частности, что от его ответов зависит в первую очередь судьба Ольги Сократовны Чернышевской, которая, по его планам, являлась, повидимому, одним из главных орудий в предполагаемом увозе Чернышевского. Пестерев поставил перед собой задачу рассеять подозрение властей, что он принимал участие в попытках освободить Чернышевского и что он привлек к этому его жену. С этой целью он подчинил свои показания доказательствам прямо противоположного тезиса: узнав, что революционеры задумали побег Чернышевского, он, Пестерев, постарался насколько мог помешать осуществлению этих замыслов и «орудием для этого» сделал Ольгу Сократовну.

«Самое лучшее орудие для этого была жена Чернышевского, и потому, воротившись в Россию, я отыскал ее в Москве. Она думала, что я привез ей известие от мужа, но я сам спрашивал о нем и предложил ей свои услуги, что не думает ли она поехать к мужу, что я в таком случае могу быть ей полезен. „Я бы поехала, да далеко, дорого, да я и больная всё, без доктора куда, да и Н. Г. особенно не желал, чтобы я приехала к нему, что мне там беспокойно будет“. — „А как он там без вас соскучится да вздумает уйти? а это болтают“. — „Э, это-то вздор! Н. Г. не такого характера, чтобы решился уйти. Он не за себя побоится, а ни за что не решится подвергнуть ответственности кого бы то ни было, но я бы поехала, если бы было с кем“. — „Я вам сыщу попутчика, даже доктора, до Иркутска он вас проводит, а там уж не так далеко. Хотите — пришлю“. — „Пожалуй“.

И я рекомендовал доктора Павлинова, моего земляка.

Потом я Чернышевскую видал не часто, ибо был вне Москвы...» (там же, лл. 257 об.—258).

В предшествующем допросе, снятом в канцелярии московского обер-полицмейстера, Пестерев показал по тому же вопросу:

«Узнавши, что Пыпин — родственник Чернышевской, я был у него — узнать, где она живет. Мне сказали, что в Москве. Я выпросил ее адрес <...> Я был у Чернышевской и нашел ее больною с маленьким сыном; я стал ее спрашивать, поедет ли она к мужу; она говорила, что она бы с удовольствием отправилась, но не знает, как ехать больной и без средств. Я ей объяснил, что денег для поездки нужно не бог знает сколько, при этом указал на обязанность редакции „Современника“ помочь ей, так как муж ее Чернышевский возвысил его значение и своим сотрудничеством доставлял немало подписчиков. Напомнил о родных, но она жаловалась, что ей все худо помогают, и рассчитывала только на про-

дажу своего дома в Саратове*. Тут же я ей заметил, что слышал о сборах к увозу ее мужа, и убедил, что это ни к чему не послужит и что лучше ей ехать к нему и там облегчить его участь. Она вполне согласилась, и я дал ей слово исполнить все относительно устройства ее поездки в Сибирь. О Чернышевской я слышал от Шелгуновой, как о пустой и ветреной женщине, которая мотала только мужнины деньги и занималась развлечением да волокитством за ней молодых людей. Для меня это было все равно: была ли Чернышевская пустая или ветреная. Для меня было довольно принять в ней участие, как в женщине, поставленной обстоятельствами в дурное положение, муж которой, как я слышал, любил ее до безумия, а трудно было допустить, чтобы Чернышевский, при его уме, мог любить дурную женщину» (л. 165). «Узнав ее короче, я убедился, что она женщина как женщина, плохо воспитанная, но хозяйка и добрая мать; дома всегда занималась делом и сама учила своего сынишку; итак, определяя, что для нее будет лучше ехать к мужу, да и Чернышевский, имея столь дорогое около себя лицо, заживет и не будет как сам мечтать, так и другие не будут заботиться о его побеге, который ни в каком случае не принес бы никому пользы, а только вред. Я просил моего знакомого доктора Павлинова, приехавшего из Иркутска держать экзамен, чтобы он согласился быть ее домашним врачом, и, окончивши экзамен, не отставал бы <!> сопутствовать ее в поездке до Иркутска. Павлинов на все согласился, и я отрекомендовал его Чернышевской как земляка и хорошего моего знакомого» (там же, лл. 163 и 165—165 об.).

Итак, чтобы «соскучившийся» без Ольги Сократовны Чернышевский не «ушел», Пестерев направляет к нему Ольгу Сократовну, хотя она заявляет, что Чернышевский «особенно не желал», чтобы она приезжала на каторгу. Какой же смысл было настаивать на поездке Ольги Сократовны, если Пестерев на самом деле думал помешать Чернышевскому бежать? Или он думал, что Ольга Сократовна хуже его знает настроения и мысли Чернышевского, его характер? Так думать не было никаких оснований. Пестерев ни разу не встречался с Чернышевским. Но поездка Ольги Сократовны на каторгу вместе с детьми устраивала как раз все те мотивы, которые препятствовали побегу. Чернышевский, по словам Ольги Сократовны, не «уйдет», так как не «решится подвергнуть ответственности кого бы то ни было». Кого же? Ведь не тюремщиков же своих. И, с другой стороны, не революционеров, которые захотели бы сделать попытку освободить своего вождя. Несомненно, Чернышевский опасался в первую очередь подвергнуть суровой ответственности Ольгу Сократовну. Ехать к нему на каторгу жить он ей запретил. А бежать вместе с ней? Если Ольга Сократовна сказала что-либо об этом Пестереву, то он скрыл это от Следственной комиссии.

Пестерев располагал широкими и прочными знакомствами в мире политической ссылки и каторги в Сибири. С другой стороны, в качестве иркутского купца, он поддерживал деловой и дружеский контакт с сибирскими купцами. Многие из них вели обширную торговлю с Китаем. Их караваны, повозки, постоянно двигались туда и обратно. Им ведомы были все пути и дороги. Их экипажи были известны страже, и пассажиры не могли внушить ей никаких подозрений. И вот, быть может в качестве не то служащего, не то гостя сибирских купцов, на их рысаках и должен был, по плану Пестерева, проехать Чернышевский до границы. Граница была всего в тридцати верстах. И то, что он ехал бы с женой и детьми должно было еще больше усыпить бдительность. Разве с детьми из каторги бегут?

* Купчая крепость на продажу дома Чернышевского в Саратове совершена во II Департаменте Петербургской палаты гражданского суда 4 марта 1864 г. — В. III.

Разумеется, это не более чем наше предположение. В семейной переписке Пыпиных об этих замыслах нет ничего. Тем более нет о них ничего в следственных показаниях Пестерева. Он добился того, чего хотел: рассеял подозрения властей о своей причастности к замыслам «увоза» Чернышевского.

11 ноября 1867 г. шеф жандармов Шувалов получил из Следственной комиссии по делу Каракозова бумагу, в которой можно было прочесть: «Пестерев старался даже воспрепятствовать осуществлению этой мысли и для этого, по возвращении в Россию, немедленно отправился в Москву, уговорил Чернышевскую ехать к мужу и приискал ей попутчика, доктора Павлинова» (д. 302, ч. IV, л. 342 об.). Бумага была подписана Ланским.

Следственная комиссия не нашла в действиях Пестерева состава преступления, отвергла подозрение, что Пестерев принимал участие в попытках освободить Чернышевского. Но это ни в какой мере, конечно, не означает, что замысла освободить Чернышевского у Пестерева действительно не было. «Пестерев не сочувствовал этой мысли, так как, имея в виду издавать в Иркутске газету с сельскохозяйственным и промышленным направлением, сам намерен был воспользоваться знаниями и литературным талантом Чернышевского», — пишет Ланской (там же, л. 342 об.). Такое заявление Пестерев сделал.

Но если даже Ланской и в самом деле был уверен, что Пестерев не сочувствовал «увозу» Чернышевского, то местные власти в течение ряда лет подозревали Ольгу Сократовну в том, что она принимала участие в попытке освободить Чернышевского.

Подтверждение этому, хотя и косвенное, можно найти в воспоминаниях М. Н. Чернышевского:

«До Иркутска мы ехали вначале благополучно, без всяких неприятностей и задержек, но в Иркутске совершенно неожиданно пришлось прервать наше путешествие на довольно продолжительное время. У местного начальства явилось сомнение в наших личностях. За несколько времени перед тем распространились слухи, что двое каких-то людей отправились для освобождения Чернышевского. Осмотрительному начальству, в лице тогдашнего губернатора Шелашникова, показалось, что мы-то и есть эти двое людей. Потребовалось навести справки. Слава богу, что оставили нас на свободе и не засадили в тюрьму...» («Чернышевский в Сибири», СПб., 1912, вып. 1, стр. 176).

Ольгу Сократовну и Павлинова задержали в Иркутске и установили за ними надзор. Теперь за ней по пятам ходили два казака и частный пристав. Почему? Потому что сомневались в их «личностях», как пишет М. Н. Чернышевский? Конечно, нет. В личности Ольги Сократовны и Павлинова никто не сомневался и справок об этом никто не наводил. Это бесспорно. Об этом ясно говорит дело Чернышевского. Но ясно и другое. Подозревали, что Ольга Сократовна и Павлинов и были теми двумя личностями, которые спешили летом 1866 г. на каторгу, чтобы освободить Чернышевского. Что было делать? Дать им возможность ехать туда, где жил Чернышевский, и там арестовать в момент совершения побега? Но где гарантия, что момент не будет упущен? Шелашников не желал рисковать. Он задержал Ольгу Сократовну в Иркутске. Это нарушало директиву центра. Но бумаги, привезенные Ольгой Сократовной, были подписаны лицами, на которых падала ответственность за то, что они не сумели предупредить раздавшийся 4 апреля 1866 г. выстрел. Имели ли теперь силу эти бумаги? К тому же они находились в противоречии с высочайшим повелением, последовавшим по поводу государственных преступников, высланных в Сибирь в 1826 г. Им не разрешались свидания с женами, жены могли последовать за ними,

только отказавшись от гражданских прав. «Я отказал в упомянутой просьбе г. Чернышевской, — писал Шелашников, — поручив объявить ей, что если она желает следовать к мужу в Нерчинские заводы, то должна оставаться навсегда в Сибири (до смерти мужа) и подчиниться всем тем ограничениям, какие постановлены для жен государственных преступников, разделяющих участь своих мужей» (ЦГИАМ, III Отд., 1-я эксп., 1862 г., д. № 230, ч. 26, лл. 272—273). Согласие Ольги Сократовны на предложение Шелашникова устраивало какое-либо беспокойство. Арестовать и поселить на каторге, лишив всех прав того, кто приехал с целью освободить Чернышевского из каторги, — что могло быть более заманчивым для Шелашникова? Но Ольга Сократовна не согласилась на его предложение, она настаивала на выполнении тех обязательств, тех гарантий, которые были даны ей в Петербурге. И тогда, организовав строгий надзор за ней, Шелашников написал шефу жандармов П. А. Шувалову письмо с просьбой дать указания.

«...Я долгом считаю, — продолжал Шелашников, — обратиться с покорнейшею просьбою о том разрешении, какое последует на означенную просьбу, почтить меня уведомлением по телеграфу в уважение того, что г-жа Чернышевская по болезненному своему состоянию должна возвратиться обратно в течение нынешнего же лета» (там же).

Ясно, что О. С. Чернышевская ехала в Сибирь не для того, чтобы остаться там, а чтобы участвовать в освобождении Чернышевского. Для этого Пестерев ее туда и направлял. Но теперь об освобождении не могло быть и речи. Замысел был раскрыт, хотя далеко не полностью. Искали доказательств, подтверждающих подозрение, здесь, в Сибири, ждали сообщения о них из Петербурга. Но и Шувалов не хотел взять на себя ответственность за результаты свидания Чернышевского с женой. 30 июля доложили императору, 31-го Мезенцов отправил телеграмму: «Свидание разрешено на ваших условиях, жандармскому офицеру сопровождать Чернышевскую, не допустив никаких секретных сообщений, письменных или словесных» (там же, л. 274).

12 августа Ольга Сократовна выехала в Кадай. С ней рядом сидел теперь не Павлинов, а жандармский офицер Хмелевский. Ее везли, как возили каторжан. По возвращении ее из Сибири, в ноябре 1866 г., по распоряжению шефа жандармов, за ней был установлен «строгий полицейский надзор». А когда она пожелала вновь съездить в Сибирь, у нее взяли подписку о невыезде из Петербурга и отобрали паспорт. Поводом к этому послужило письмо генерал-губернатора Восточной Сибири М. С. Корсакова к шефу жандармов от 18 октября 1868 г. Вот его текст:

«Усматривая из доложенных мне сведений о государственном преступнике Николае Чернышевском, что жена его, проживающая в настоящее время в С.-Петербурге, предполагает приехать в Александровский завод Нерчинского округа, где Чернышевский содержится, я долгом считаю заявить вашему сиятельству, что подобный приезд, ввиду известного вам желания польской эмиграции освободить этого преступника, может послужить содействием к осуществлению вышеупомянутого желания. На этом основании я, с своей стороны, не считаю удобным, чтобы г-же Чернышевской было дано разрешение на приезд в Восточную Сибирь» (там же, л. 288).

Таким образом, и теперь, через два года после первой поездки Чернышевской в Сибирь, генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков опасался, как и прежний губернатор Шелашников, что присутствие Ольги Сократовны «может послужить содействием» в намерении революционеров освободить Чернышевского.

Итак, Пестерев разговор с Герценом о возможности увоза Чернышевского попытался реализовать. Позже Ольга Сократовна не раз встречалась с Павлиновым; ее сын, Михаил Николаевич Чернышевский, отзывается о нем очень тепло и сердечно. Пестерев сумел отыскать именно того, кто был нужен в этом сложном, опасном предприятии.

После возвращения из-за границы Пестерев, по просьбе Александра Серно-Соловьевича, занялся хлопотами, связанными с его книжным магазином в Петербурге. Это было большое дело, довольно расстроенное вследствие эмиграции Александра Серно-Соловьевича и ареста его брата и совладельца — Николая.

Книжный магазин Серно-Соловьевичей не был торговым предприятием в собственном смысле этого слова. Он имел политико-просветительные цели, и поэтому предложение Серно-Соловьевича «принять ведение дела по книжному магазину на себя или же передать таковой в надежные руки» (д. 302, л. 174) заинтересовало Пестерева. Пестерев был у Рихтера, и тот предложил ему принять дело, заявив при этом, что он отказывается от денег, которые ему был должен магазин. Пестерев обратился за советом к В. О. Ковалевскому, который управлял типографией Голицына. В беседе с Ковалевским возникла мысль объединить типографию Голицына с книжным магазином Серно-Соловьевича. Пестерев полагал, что при таких условиях можно будет основать «общую издательскую компанию с книжною торговлею», и заявил по этому поводу: «К чему и я был не прочь пристать, сбывать книги в Сибири и других местах. Заведование магазином можно было бы передать Зайцевым, «так как они знакомы с литературным кружком и самим делом» (там же, л. 174 об.).

Из показаний Пестерева не ясно, чем кончился этот замысел. Во всяком случае, он продолжал интересоваться Пестерева и дальше. Деловые связи у него продолжали существовать, так как в долговую тюрьму к нему в 1866 г. приходил Черкесов. Пестерев так рассказывает об этом, пытаясь выгородить Черкесова: «Между прочим, зашел ко мне Черкесов, кажется, высидевший месяца два в крепости, с объявлением, что он со мной ничего общего не имеет, что все это пустяки. Никаких компаний составлять не нужно и нос в большие дела, особенно с политической закваской, совать нечего» (там же, л. 221).

Повидимому, и еще ряд поручений, исходивших от русских революционеров, находившихся в эмиграции, выполнил Пестерев, и не в одиночку, а привлекая к этому знакомых. Это видно из «дела Ворожцова».

2

СВЯЗИ ВОРОЖЦОВА С ОГАРЕВЫМ

13 октября 1866 г., при обыске, произведенном в квартире приятеля Пестерева — купца Ивана Прокофьевича Ворожцова, в городе Слободском, Вятской губернии, было отобрано письмо, написанное мелким четким почерком на двух листках голубой бумаги небольшого формата.

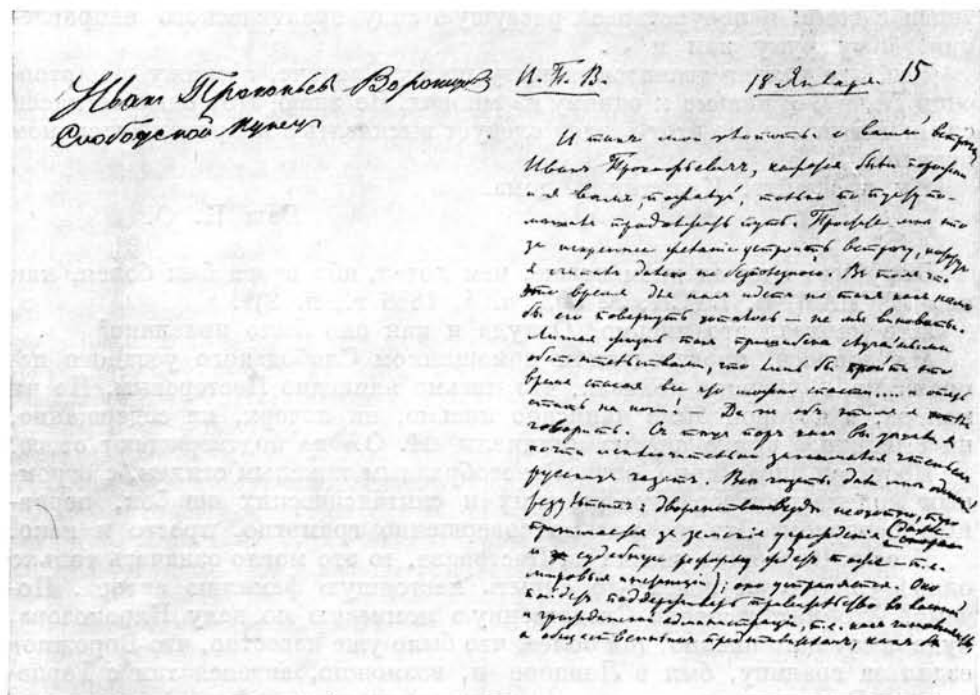
Оно отличалось от всех остальных писем тем, что не было в нем ничего ни о торговле, ни о фабричных делах. Повидимому, они очень мало интересовали автора, и все же он был чем-то связан с И. П. Ворожцовым, «фабрикантом спичек, слободским (Вятской губернии) купцом», даже близок ему: «... зачем я это пишу? Затем, чтоб протянуть вам руку сочувствия...». Незнакомому, идейно чуждому человеку «руку сочувствия» не протягивают. Близость была, и именно политическая близость. Письмо говорило о политике ясно и в то же время осторожно. Оно ка-

салось и личных семейных вопросов, волновавших автора. Такие письма далеким, малознакомым не пишут.

И. П. В.

18 января <1865 г.>

Итак, мои хлопоты о вашей встрече, Иван Прокофьевич, кажется, были порожны, и я вам, пожалуй, только попусту помешал продолжать путь. Простите мне это за искреннее желание устроить встречу, которую я считал далеко не бесполезною. В том, что это время для нас идет



АВТОГРАФ ПИСЬМА ОГАРЕВА К И. П. ВОРОЖЦОВУ ОТ 18 ЯНВАРЯ 1865 г.

Было найдено при обыске у Ворожцова. Слева подпись Ворожцова

Лист 1

Центральный исторический архив, Москва

не так, как нам бы его повернуть хотелось,— не мы виноваты. Личная жизнь так пришиблена случайными обстоятельствами, что лишь бы пройти это время, спасая все, что можно спасти... и опять стать на ноги!— Да не об этом я хотел говорить. С тех пор, как вы уехали, я почти исключительно занимался чтением русских газет. Все газеты дали мне одинакий результат: дворянство везде неохотно, туго принимается за земские учреждения [скорее] (даже и [за] судебную реформу ждет тоже — т. е. мировые инстанции); оно устраняется. Оно пойдет поддерживать правительство в военной и гражданской администрации, т. е. как чиновничество, а общественным представителем, как бы ни было ограничено это представительство, не будет или будет очень вялое и редкое. Для меня это из газет очевидно; вместе с этим очевидно убеждение, что за общественные должности должны горячо схватиться разночинцы (купцы, семинаристы, университетцы и т. подоб.), ибо в этом явится путь: развитие понятия выборности, способов явной оппозиции, сбли-

жения со всеми слоями общества для всякой оппозиции. Пора, кроме литературного дела, которое вертится в крошечном кружжук и наиболее указывает на идеалы, даже не всегда ясно выработанные, пора приняться за практический труд, который близко ли далеко ли ставит свой идеал, но разбивает случающиеся обстоятельства, без развития которых ни шагу нельзя шагнуть. Но вы это сами хорошо понимаете и, может, спросите, зачем я это пишу? Затем, чтоб протянуть вам руку сочувствия, которая поддержала бы ваше убеждение, если встретятся люди, даже и хорошие, но смотрящие на дело с иной стороны... может, не с уясненной стороны. Кончу тем, что скажу вам: да, я страшно рад, что встретился с вами: я почувствовал растущую силу практического направления. Жму руку вам и Л.

Все, что у меня теснится в мозгу по этой задаче, я скажу в мартовском №, в 3-м письме к одному из многих. Не знаю, этот один согласен со мной или нет, но этот взгляд следует высказать в непродолжительном времени.

Ну прощайте. Кланяйтесь дома.

Ваш Н. О.

Это письмо писал днем позже, чем хотел, ибо вчера был болен, как пис» (ЦГИАМ, ф. ВУСК, № 302, ч. 4, 1866 г., л. 2)*.

Кто написал это письмо? Откуда и как оно было прислано?

На допросе, произведенном помощником Слободского уездного исправника, Ворожцов показал, что письмо написано Пестеревым. Но ни манера, в которой было написано письмо, ни почерк, ни содержание, ни стоящие в конце письма инициалы «Н. О.» не подтверждают этого.

Пестерев писал ярко, сочно, своеобразным тяжелым стилем, с огромным количеством орфографических и синтаксических ошибок, неровным почерком. Это же письмо совершенно грамотно, просто и ясно.

И если Ворожцов указал на Пестерева, то это могло означать только одно — он желал почему-то скрыть настоящую фамилию автора. Почему? Это интересовало Следственную комиссию по делу Каракозова, куда поступило письмо, тем более, что было уже известно, что Ворожцов ездил за границу, был в Лондоне и, возможно, виделся там с Герценом и Огаревым.

8 августа 1867 г. Следственная комиссия предъявила подлинник письма Василию Кельсиеву, недавно вернувшемуся в Россию, после того, как он порвал с Герценом и Огаревым, порвал с революционным лагерем и сделался ренегатом. Это был авторитетный эксперт.

Письменное заключение Кельсиева гласило:

«Почерк предъявленного мне письма я без всякого колебания признаю почерком Н. П. Огарева — ошибиться мне в этом невозможно. В. И. Кельсиев» (д. 302, л. 236).

Так была документально установлена связь Ворожцова с Огаревым. Тем самым становилась очевидной и «преступная» деятельность Ворожцова. Теперь дело уже шло о том, как долго она продолжалась, в чем она конкретно проявлялась. Ответ на этот вопрос, так же, как и на вопрос о связях с издателями «Колокола» Пестерева, Следственная комиссия пожелала получить от того же Кельсиева. Он показал:

«Личности эти мне даже по имени не известны. Полагаю, что они были в сношениях с Герценом и Огаревым после сентября 1862 г., когда я выехал из Лондона, если только они были с ними в сношениях. В. И. Кельсиев» (там же, л. 237).

* Впервые опубликовано Б. П. Козьминым — «Красный архив», 1930, № 1 (38), стр. 172—173.

Нет никаких оснований видеть в оговорке «если» какую-либо попытку спасти Ворожцова, скрыть его связи. Ответ говорил только об одном: до сентября 1862 г. Пестерева и Ворожцова русские изгнанники не знали.

12 сентября Следственная комиссия потребовала новых объяснений от Ворожцова. Ему было предъявлено письмо Огарева с указанием, что следствие установило принадлежность письма руке «изгнанника Николая Огарева».

1867 года Августа 8^{го} дня, въ Высочайше учрежденной въ Петербургѣ Вишестенной Комиссии, государственной преступникъ <u>Василій Пестеревъ</u>, на предложенные ему вопросы, оъясняетъ:	
Вопросы:	Ответы:
Высочайше учрежденная Комиссія спрашиваетъ Василь оъяснить: не извѣстенъ ли Василь потерѣ предъявленнаго письма, и если извѣстенъ, то кто его написалъ?	Потеря предложеннаго мной письма и приложеннаго къ нему письма, принадлежатъ преступнику Пестереву — виновнику и автору письма. Н. И. Кельсиевъ

ПОКАЗАНИЕ В. И. КЕЛЬСИЕВА ОТ 8 АВГУСТА 1867 г., УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ, ЧТО ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ У ВОРОЖЦОВА, НАПИСАНО ОГАРЕВЫМ

Центральный исторический архив, Москва

«... Я полагал, что письмо от Пестерева, — отвечал Ворожцов, — но если по сличению руки оно действительно Огарева, то значит, что Шнеур к нему меня и завозил, я только помню, что личность эта высокого роста с седыми на голове волосами и бородой» (там же, л. 318).

Это все, что он помнил, да еще он знал твердо, что писем никому в Лондоне и в Лондон он не писал и ответов на письма не посылал. Таким образом, Ворожцов не отрицал возможную встречу с Огаревым, к которому его мог завезти его слутник, вятский знакомый Шнеур. Он говорил только, что если встреча и состоялась, то он не знал, что это был Огарев.

«Огарев ли это был, я положительно сказать не могу, а основываясь на сходстве рук, я пишу об Огареве» (там же, л. 323). Ворожцов готов

верить Следственной комиссии, что это был Огарев. «Познакомился я с ним чрез Шнеура, за Лондоном, вероятно в его квартире, встреч было не более двух, если не одна, и именно в вышеописанном месте, названия которого не припомню» (там же). Посетить человека, может быть даже не один раз, и затем забыть его фамилию — трудно. Это должно было показаться маловероятным, но у Ворожцова были свои объяснения. Он был фабрикантом спичек и его интересовал фосфор. Собственно, из-за него он и приехал в Лондон. Фосфор не вырабатывался в России, и приходилось его покупать за границей. Это резко удорожало цену на спички. Стоило только завести фабрику фосфора, и вопрос разрешался. Таков был ход рассуждений Ворожцова.

Интересы фабрики требовали поездки за границу. Он и поехал, но не сразу, а побывал сначала в Москве, Петербурге, Нижнем-Новгороде, Варшаве. Он искал в различных городах России ответа на интересовавший его вопрос, но найти его не мог. Он изучил литературу по химии, изданную в России, и пришел к выводу, что, кроме книги Геймана «Письма о химии», ничего дельного нет. В других книгах, статьях речь шла об общетеоретических вопросах, далеких от практических нужд производства, от требований жизни. Не было и нужных специалистов, способных построить фосфорный завод по последнему слову техники. Их не готовила школа. А в это время Катков и его «Московские ведомости» высказывались за классическое образование, требовали усиления преподавания греческого и латинского языков. Ворожцов полагал, что так могли выступать только реакционеры, далекие от понимания подлинных интересов России, не заинтересованные в ее процветании.

Надо готовить практиков, способных понимать и разрешать назревшие вопросы. Так думал Ворожцов и осуждал поэтому и «Московские ведомости», и Каткова.

Но и за границей он встретился с большими трудностями. Осматривать фабрики фосфора не разрешалось без ведома дирекции или владельца. В чужой, незнакомой стране надо было отыскать людей, которые могли бы помочь получить соответствующее разрешение. Нашелся Шнеур, старый знакомый по Вятской губернии.

Он обещался устроить все дело, достать письмо к фабриканту и повез его, Ворожцова, за Лондон. К кому? Это не интересовало Ворожцова. Ему нужно было письмо, открывающее двери фабрики: «Я просил его дать мне возможность осмотреть фосфоровый завод» (там же, л. 320). Вот о чем Ворожцов говорил с человеком, который, оказывается, был Огаревым. Ни о чем ином, только об этом. А тот предложил ему продавать в России книги. И в этом не было ничего необычного. Услуга за услугу. Фабрикант и купец Ворожцов в своих показаниях все время подчеркивал, что цели его поездки за границу были чисто коммерческими, что все встречи, которые он имел там, были вызваны «делом».

Дело привело его и в квартиру Огарева. И там шли те же разговоры. Незнакомец, оказавшийся, по утверждению Следственной комиссии, Огаревым, рассуждал, по свидетельству Ворожцова, так же, как спичечный фабрикант.

«Ты мне поможешь в моем деле, книги продашь в России, я тебе помогу в твоём — познакомлю с фабрикантом». Вот и все. Огарев это был или кто другой — это было безразлично Ворожцову, поэтому он и фамилию забыл.

«Я хлопотал достать письмо от Шнеура на фосфорную фабрику, Шнеур же мне обещал, что он даже со мной съездит к хозяину фабрики. Об этом, как видно, был разговор и у Огарева» (там же, л. 321). И это было удобно Ворожцову, который не знал ни одного иностранного языка. «Но кончилось тем, что с меня Шнеур взял деньги, а потому Огарев, вероятно

но, и считал нужным написать ко мне письмо, чтобы извиниться, что встречи с хозяином завода, несмотря на всю пользу для меня в том, они с Шнеуром устроить не могли и только попусту отняли у меня время, задерживая в Лондоне. Других же встреч никаких Огарев и Шнеур не обещали мне устроить <...> Что Огарев также обещал хлопотать об этой встрече, то это очень естественно, ибо из меня хотели сделать, как я думаю, по их предложению, торговца книгами, но по отказе моем в том сочли бесполезным хлопотать о моем деле» (там же).

Так письмо, разоблачавшее «преступную» связь Ворожцова с Огаревым, превращалось в документ, доказывавший полную невиновность Ворожцова, его нежелание принимать участие в пересылке и распространении нелегалыщины.

И действительно, первые строчки письма Огарева Ворожцову говорят о хлопотах Огарева, о попытке устроить встречу с кем-то и о том, что она не удалась. «Итак, мои хлопоты о вашей встрече, Иван Прокофьевич, кажется, были порожни, и я вам, пожалуй, только попусту помешал продолжать путь» (там же, л. 2). Обещание было Огаревым дано. Это бесспорно. Но с кем хотел познакомить Огарев Ворожцова? С фабрикантом фосфора? Но почему Огарев не сказал об этом в письме ясно? Боялся скомпрометировать Ворожцова? Но разве фамилия фабриканта могла раскрыть «преступные» связи Ворожцова? Конечно, нет. О какой-то другой встрече, повидимому, хлопотал Огарев. О какой? С кем? Может быть, с Герценом.

«Простите мне это, — продолжал Огарев, — за искреннее желание устроить встречу, которую я считал далеко не бесполезною. В том, что это время для нас идет не так, как нам бы его повернуть хотелось, — не мы виноваты. Личная жизнь так пришиблена случайными обстоятельствами...». О ком другом, кроме Герцена, могла идти в этих строках речь? Повидимому, только о нем: Огарев имеет в виду смерть двух детей Герцена, последовавшую 3 и 11 декабря 1864 г. Именно с Герценом хотел познакомить Огарев Ворожцова. И считал это далеко не бесполезным. Но это оказалось невозможным. Почему?

Ворожцов был в Лондоне, повидимому, в начале января 1865 г. Где был в то время Герцен? В конце 1864 г. — в Париже, откуда уехал в Женеву, затем, 7 января, в Монпелье. И Ворожцов был в Швейцарии и Париже, но был он там несколько дней, может быть, даже тогда, когда Герцена там не было: в феврале 1865 г. Ворожцов уже вернулся в С.-Петербург. Во всяком случае, Ворожцов добивался этой встречи, может быть, ждал приезда Герцена. Это ясно из слов Ворожцова: Огарев и Шнеур «попусту отняли у меня время». Только одно слово из огаревского письма вносит сомнение в такое толкование. Это слово «кажется». «Итак, мои хлопоты о вашей встрече, Иван Прокофьевич, кажется, были порожни». Огарев должен был знать, состоялась встреча у Ворожцова с Герценом или нет. Откуда это «кажется»? Но объяснение этому легко найти. Огарев писал письмо 18 января н. ст., когда Герцен был в Монпелье и когда Огарев в Лондоне мог еще не знать, состоялось ли свиданье. Его категорически отрицал Ворожцов.

«Комиссии известно также, что вы посетили за границей изгнанника Герцена».

«С Герценом, я утвердительно могу сказать, что нигде не встречался и никогда не был знаком, и так как мне случалось за границей видать его портрет у Шнеура, то я не ошибся бы, если бы он встретился мне в числе неотрекомендованных» (там же, л. 329). Возможно, что это было так. Во всяком случае, Герцен нигде не упоминает о Ворожцове. С другой стороны, Пестерев утверждает, что разговоры у Ворожцова с Герценом были (там же, л. 262). Установив, что письмо к Ворожцову было

написано не Пестеревым, а Огаревым, и что «фабрикант фосфорного завода», с которым Огарев обещал познакомить Ворожцова, был не кем иным, как главой русской эмиграции Герценом, Следственная комиссия должна была прийти к выводу, что круг интересов Ворожцова не мог ограничиваться торговыми делами. Его интересовала политика. Поэтому Следственная комиссия хотела получить от Ворожцова объяснение каждой фразы письма Огарева, поэтому она требовала подробного рассказа о всех разговорах с ним. Но Ворожцов одно «забыл», другое помнил неясно. У него остались в памяти только мелочи, самые невинные, подробности, не имевшие никакого политического значения. «Всего разговору я припомнить не могу, — пишет он. — Но что о земстве мог быть разговор, то это очень естественно, и что я верю в то, что земские учреждения очень полезны, в том я отказываться не могу» (там же, л. 322). Он даже припомнил, что поводом к разговору о земстве послужили статьи, напечатанные в «Русских ведомостях», — он заявил, что Огарев настаивал на том, чтобы «податные сословия» приняли участие в выборах в земство, «потому-то, вероятно, Огарев и пишет в письме, чтобы и я принял участие в земских выборах» (там же), но и эти сведения не выходили за пределы того, что можно было узнать из письма. Правда, он сообщил и о том, что он ответил Огареву на его предложение, но этот «ответ», как и остальные подробности, говорил только об одном: его пытались вовлечь в политическую работу, а он отказывался. «Я человек, не привыкший к обществу, я посвятил себя практической химии и буду жизнь мою хлопотать о развитии в России тех продуктов, которые теперь достаем из-за границы».

Ворожцов говорил, таким образом, в Лондоне о том, о чем можно было говорить открыто и в России, и там, среди эмигрантов, он думал только о своей фабрике и ее развитии. Да и эмигранты не могли с ним разговаривать на другие темы — так далеки от него, так чужды они ему были: «Об оппозиции против правительства я не помню, был ли разговор и кто в ней участвует, никого не слыхал от Огарева, да и ему невозможно, я думаю, высказывать имен таких личностей человеку, который не участвовал ни в одной демонстрации против правительства, хотя и каждый год бывал в Москве и Казани. Это доказывает, что я с студентами знакомств не имел. Что же касается того, что он написал ко мне такое интимное письмо, то я считаю, что так как он с Шнеуром виноват, что не устроил мне осмотра фабрики, то должен был вежливо и сочувственно извиниться предо мной» (там же, л. 325).

А когда Следственная комиссия предлагала Ворожцову вскрыть смысл неясных для нее строк и выражений в письме Огарева, Ворожцов обошел эти вопросы. Что мог, в самом деле, ответить человек, не знакомый даже со студентами?

Только на один каверзный вопрос он ответил: «В заключении письма Огарева сказано: „Жу руку вам и Л... *Кланяйтесь дома*“. Обязываетесь объяснить, кто такой Л., где он находится, когда и по какому случаю он познакомился с Огаревым и какие имел или имеет с ним сношения. Кому именно под словом *дома* поручал вам Огарев кланяться?» — спрашивала Следственная комиссия (там же, л. 326). «Так как Огарев мне не скрывал ни одной фамилии, то это могло относиться только к Лапре, о котором, вероятно, я поминал, как о товарище путешествия», — отвечал Ворожцов. А что касается «поклонов», то Ворожцов сказал, что никому о свидании с Огаревым не рассказывал, может быть, «упомянул только» в связи с Шнеуром, если только упомянул, да и то потому, что Шнеура все знали и «упомянуть» поэтому о том, что Шнеур возил его к какому-то незнакомцу, было естественно, так же естественно, как и то, что Огарев, человек крайне вежливый, посылал поклон и жал руку Лапре, которого он никогда не видел, Лапре, который сопровождал Ворожцова за границу.

Да, еще по одному вопросу дал Ворожцов очень подробное показание, по вопросу о литературе. Его спросили о том, знаком ли он с ней, читал ли он Герцена. Да. Он читал его. Было это в России в 1861, 1862 гг., на Нижегородской ярмарке. Тогда Герцена читали все. Читал и он. «Сколько могу припомнить, читал „Кто виноват?“ до издания ее в России... „Колокол“ не припомню сколько номеров и каких годов, рассказы о былом Герцена и какие-то еще мелкие брошюры, которые я приобрел на Нижегородской ярмарке от разносчика Павла, фамилии же его не знаю. Это, кажется, было в 1861 и 1862 гг. А потом приобрел в Лондоне, в лавке, имени которой не помню, „Полярную звезду“, сколько-то №№ „Колокола“, „Стого берега“, „Евангелие“ в русском переводе и более, кажется, ничего <...> Все вышеозначенные книги, за исключением, кажется, одной о духовенстве, сжег, когда узнал, что мало того, что их лишишься, но и подвергнешься за них преследованию как человек вредный обществу» (там же, л. 324 об.—325). Он даже не скрыл, что давал читать их брату. Все было ясно. Знал о Герцене еще в 1861 г., читал в течение пяти лет и сжег привезенные книги до обыска, узнав в 1865 г., что читать Герцена и хранить его книги опасно. Зачем покупал? Да к тому же покупал тогда, когда отказался торговать и пересылать их в Россию. Этот вопрос мы обязаны поставить. Он не был поставлен Следственной комиссией, на него не дал ответа Ворожцов. А он очень важен. Он связан с рядом других вопросов. Ворожцов утверждал, что ему предлагали транспортировать нелегальщину. Кто? Огарев. Ворожцов был не раз в «лавке», он говорил не раз с ее владельцем. Он «забыл» его фамилию, но помнил, что был в лавке. Это было тогда, когда Огарев «хлопотал» о встрече с фабрикантом. Ворожцов делал вид, что договаривается о торговле книгами, Огарев—что хлопочет о свидании с «фабрикантом». Опять та же мысль, которая проходила через все ответы Ворожцова. Купцы торгуются и пытаются надуть один другого. Ворожцов, чтобы получить письмо, делает вид, что его интересует «предложение» Огарева, Огарев делает вид, что «хлопочет», ожидая, когда Ворожцов начнет отправку литературы. В результате и тот и другой... не выполняют своих обязательств. Мы уже видели, что все разговоры о фабричных делах — маскировка, которой пользовался Ворожцов. Она помогала скрывать то, что речь шла о транспортировке литературы. Следственная комиссия спрашивала Ворожцова:

«Пестерев поручал вам устроить контрабандный ввоз из-за границы запрещенных книг и изданий. Назовите те книги и издания, которые поручал вам Пестерев доставить в Россию...» (там же, л. 327). Он отвечал: «Пестерев <...>, получив, как выше сказано, мой отказ, прекратил этот разговор...» (там же, л. 327 об.). «Устроился ли через кого-либо прсвоз этих книг, я не знаю и не думаю, чтобы устроился, ибо Пестерев бы предложил мне их для чтения, а этого никогда не бывало» (там же). Пестерев подтверждал в своих показаниях, что Ворожцов отказался перевозить нелегальщину. Таким образом, отрицательное отношение Ворожцова к перевозке нелегальщины доказано. Но здесь следует остановиться и попытаться внимательней разобраться в вопросе.

Пестерев говорит о транспортировке других книг. Этого не заметила Следственная комиссия. Перед отъездом Ворожцова за границу Пестерев поручил Ворожцову побывать не у Герцена, а у Утина. К Утину направляет он его с теми же двумя делами, с какими Ворожцов был и в Лондоне у Огарева. Утин должен был Ворожцова познакомить с «фабрикантами, изготовлявшими фосфор», Утин же должен был снабдить его и нелегальными изданиями.

«С Утиным Ворожцов сносился именно по моей просьбе» (там же, л. 262),— писал в своих показаниях Пестерев и подробно рассказывал, как

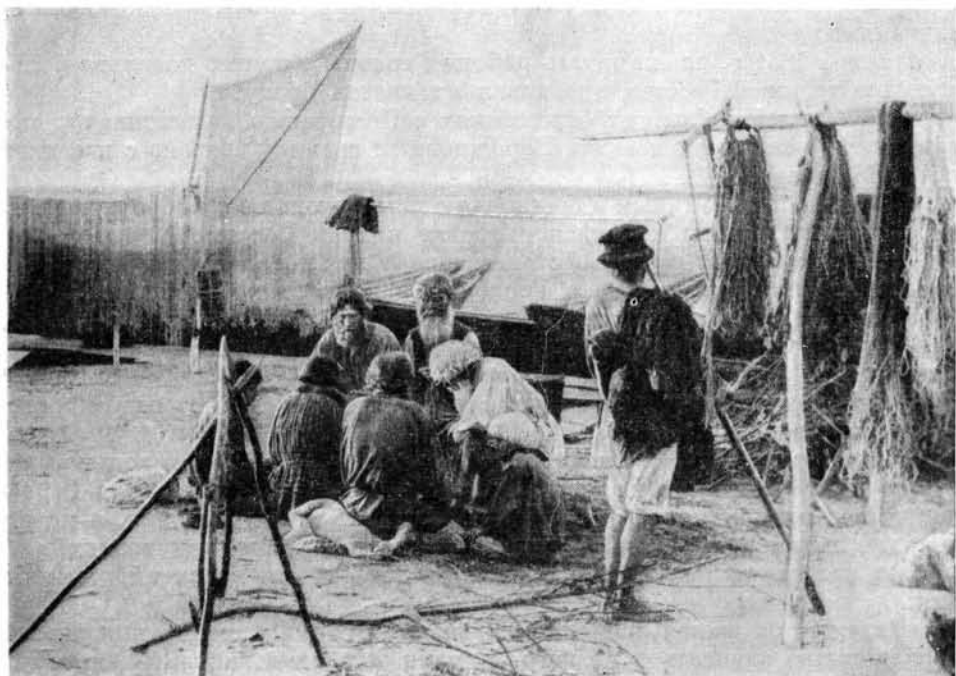
и когда это произошло. Выходило так, что когда Ворожцов задумал ехать за границу, чтобы посмотреть там заводы, изготовлявшие фосфор, он обратился к Пестереву с вопросом, нет ли у него за границей знакомых, которые могли бы ему помочь в этом. Вот тогда-то Пестерев назвал Утина. «И он, что можно для тебя сделать, делает. А ты, между прочим, выступи у него для меня журнал, если он таковой начал издавать, и книги его издания». — «Да ведь это будут книги запрещенные. На таможне попадешь». — «Книги должны быть действительно не совсем позволительные, и попадаться тебе с ними боже сохрани. Пожалуй, прогуляешься по Владимирке. Но можно всего этого избежать, тем более, что ты думаешь купить фосфор и в таможне хлопотать не станешь сам, а сдашь комиссионеру. Люди эти <...> не только спустят несколько листов газеты, так хоть целую запрещенную библиотеку и за такую безделицу возьмут немного» (там же, л. 263).

Таким образом, Ворожцов должен был привезти журналы и книги, изданные не Герценом, а Утиным. А они еще изданы не были. Поручение Пестерева поэтому он выполнить не мог. Провоз «этих книг, — уверенно заявил Ворожцов во время следствия, — я не думаю, чтобы устроился» (там же, л. 327 об.).

То, чего не было, переслать нельзя. Но за границей Ворожцов говорил не только с Утиным, но и с Огаревым. Были ли пересланы им издания Герцена? Именно об этом и спрашивала Следственная комиссия. А он говорил об Утине. Повидимому, в массовом количестве не были отправлены и книги Герцена, но по одному экземпляру какие-то книги Ворожцов провез. Были ли это только те книги, которые он назвал, или их было больше, этого мы не знаем. Но мы знаем другое: Ворожцов купил за границей печатный станок, и он был привезен им и оставлен в Петербурге.

Согласно заявлению Пестерева и показаниям Ворожцова, за границу Ворожцов ездил для того, чтобы познакомиться с работой фосфорных заводов, а привез в Россию не фосфор, а книги, изданные Герценом, да вдобавок печатную машину. Он завел там знакомства, но не в деловых кругах, — это ему удалось плохо, — а среди эмигрантов. Как и где приобрел он печатный станок, кто помогал ему в этом? Об этом он не сказал. А на вопрос, для чего ему понадобился станок, Ворожцов отвечал, что предполагал печатать этикетки для спичечных коробков. Но и здесь выяснилась подробность, ставившая под сомнение и это заявление Ворожцова. Дело в том, что привезенная из-за границы машина не была отправлена в Вятскую губернию. Думал ли Ворожцов печатать этикетки для спичечных коробков в Петербурге, чтобы оттуда посылать их на фабрику? Это было бы неудобно, дорого, нелепо. Зачем надо было покупать машину, создавать типографию в Петербурге и в ней печатать этикетки для спичек, которые затем надо было отсылать в Вятскую губернию? Их можно было напечатать в любой типографии. И Ворожцов прекрасно понимал, что такому объяснению никто не поверит. Он заявил поэтому, что печатать этикетки он думал на месте. У него на фабрике был прекрасный механик. Он мог сделать машину не хуже, чем делали за границей. Но нужно было иметь чертежи, а чертежей не было. Вот Ворожцов и купил машину, снял чертежи и увез их в Вятку. Зачем же было везти машину за сотни верст, если там ее «мог сделать механик» по чертежам? И машина была бы, конечно, сделана, если бы механик внезапно не умер.

Следственная комиссия не заинтересовалась механиком, возможно, именно потому, что Ворожцов заявил, что он умер. Но Ворожцов не назвал ни имени, ни отчества, ни фамилии этого механика. Ясно, что он вводил в заблуждение следователей.



ВОЛЖСКИЕ ТИПЫ

Фотографии, сохранившиеся в «пражской коллекции»
 Центральный архив литературы и искусства, Москва

Между тем, шрифт для машины был приобретен, и приобретен при помощи того же Пестерева. «Количество шрифта я не знаю,— заявил он,— ибо Ворожцов получал сам. Я же привез Ворожцова к Ковалевскому и просил последнего дать немного разного шрифта, чтобы можно было тискать карточки и ярлыки. Ручаясь за Ворожцова, что он не сделает из него дурного употребления, я оставил Ворожцова у Ковалевского» (там же, л. 264). Но верность этого показания Пестерева отрицает Ворожцов. А между тем, Пестерев не только не пытался взвалить на него небывалого, но все делал, чтобы всю вину взять на себя. Если припомнить, что Пестерев предполагал организовать типографию, издавать газету в Сибири, а ее редактором должен был быть Чернышевский; если припомнить, что он настаивал на том, чтобы Утин приступил к изданию газеты за границей, и подсказывал ему мысль о широком использовании материала из газет, издававшихся легально в России; если припомнить, что Ворожцов, по поручению Пестерева, должен был наладить пересылку изданий Утина и бесспорно не по своей инициативе, а по предложению того же Пестерева он говорил с книжной «лавочкой» Герцена и с Огаревым, то невольно встает вопрос: собирался ли когда-нибудь Ворожцов посылать машину в Слободской уезд Вятской губернии, думал ли когда-либо использовать ее для печатания этикеток или, может быть, после серьезного обсуждения с Огаревым, Тхоржевским, Утиным пришел к выводу, что практичнее, чем переправлять нелегальную литературу из-за границы, печатать ее в России. Такое предположение вероятно. Но бесспорно установленным надо считать, что Ворожцов:

- 1) виделся в Лондоне, и не один раз, с Огаревым;
- 2) приехав в Россию, получил от Огарева письмо, содержавшее политические директивы и говорившее о близком знакомстве;
- 3) не один раз был в «лавке» Герцена, торговавшей нелегальными изданиями;
- 4) еще с 1861 г. начал читать работы Герцена и привез довольно большую пачку их в Россию, где давал их читать брату;
- 5) находился в близких отношениях с Пестеревым, выполнял его поручения; в частности, поездка Ворожцова за границу связана с поездкой туда Пестерева;
- 6) встречался с Утиным и беседовал с ним отнюдь не о фабричном деле, а об издании газеты и транспортировке книг в Россию;
- 7) купил и привез печатный станок, шрифт для которого получил у Ковалевского, встречавшегося с Герценом в конце декабря 1864 г.;
- 8) пытался скрыть от следственных органов фамилию автора письма, т. е. Огарева, и разговор с Огаревым, и смысл его письма, а также все, связанное с Утиным;
- 9) умело завязывал политические связи и делал это под видом торговых переговоров.

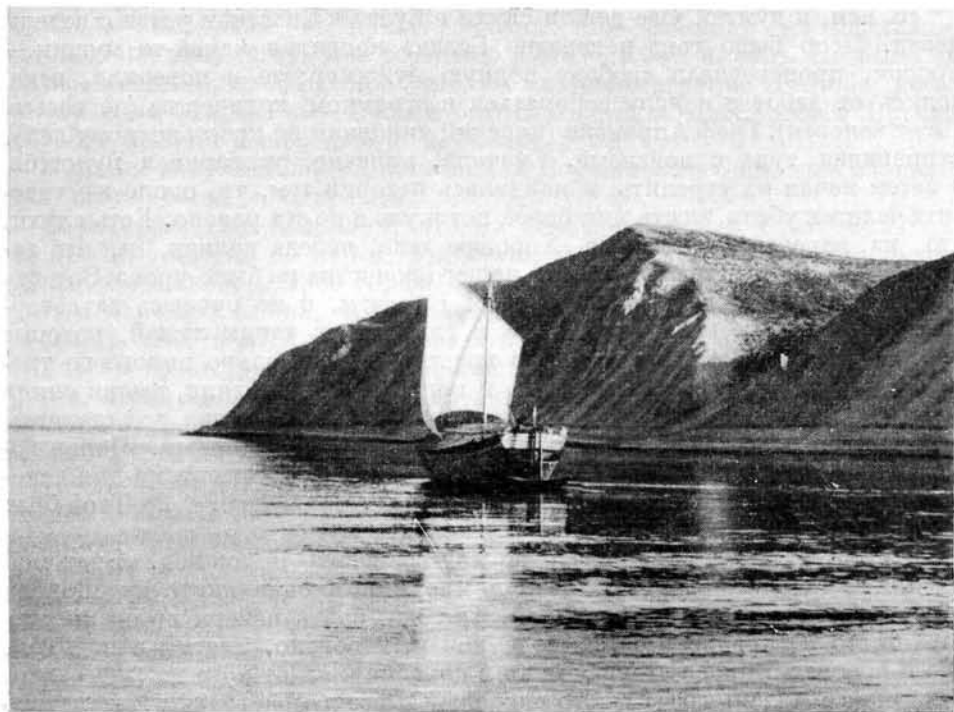
Можно считать установленным и еще один факт,— что не только брату, по возвращении из Европы, Ворожцов давал читать издания Герцена, но и с племянником, жившим в Казани, об этом беседовал, а может быть, и пытался наладить распространение в Казани этих изданий.

Вот что писал Ворожцову 23 ноября 1865 г. его казанский племянник:

«Надежда на звон в известном магазине рухнула именно при первой моей попытке записаться на него. У меня есть один знакомый, который служит тут приказчиком и которого я просил передать хозяину его желание мое получать звон. Но получил положительный отказ в невозможности получить его, потому что хозяин обжегся на молоке уже раз и теперь дует на воду. Так то-с. А потому прощай надежда до будущих благоприятных времен, а когда оные сойдут на нашу бедную Русь, про то

ведает бог. „Современник“ уже успел получить первое предостережение от министра за августовскую книжку. Подлецы» (там же, л. 307 об.).

Следственная комиссия правильно расшифровала и слово «звон» и то, к кому относится характеристика «подлецы», и потребовала объяснений. Объяснения были даны. Племянник Ворожцова, В. Н. Ворожцов, занимавшийся делами своего дяди Михаила Прокофьевича Ворожцова, признал письмо своим, подтвердил правильность расшифровки слова



ВОЛГА. УТЕС СТЕНЬКИ РАЗИНА

Фотография, сохранившаяся в «пражской коллекции»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

«звон», что же касается выражения «подлецы», то, по его утверждению, оно «относится к редакции, потому что, не успев воспользоваться дарованным тогда правом свободы печати, редакция успела в непродолжительном времени заслужить уже предостережение от министерства» (там же, л. 305).

Жандармский полковник Ларионов сообщал 26 сентября 1867 г. шефу жандармов: «По сделанной же в делах моих справке оказывается, что в 1865 году действительно не в августе или сентябре, как говорит Ворожцов, а в марте месяце магазин братьев Петрик был подвергнут обыску и временно запечатан по случаю найденных у него заграничного издания и воспрещенных к обращению в публичке книг...». Разъяснения жандармского полковника не опровергают того, что писал Ворожцов. Наоборот, подтверждают, что Петрик торговал нелегальной. Вот с ним-то по этим делам был связан племянник Ворожцова и после «временного запечатания магазина». По его утверждению, осенью 1865 г. владелец магазина отказался доставлять «Колокол». Возможно, что это было и так. Но сообщение жандармского полковника заставляет нас

поставить вопрос: откуда магазин Петрика получал нелегальную литературу? По утверждению жандармского полковника, она была найдена в магазине Петрика в марте 1865 г., а в феврале 1865 г. вернулся из-за границы Ворожцов. Нет ли между этими двумя фактами связи? Данные дела не позволяют сделать окончательного вывода, но они заставляют вспомнить о письме, отосланном тому же Ивану Прокофьевичу Ворожцову другим его братом, Василием Прокофьевичем, из той же Казани еще в 1861 г. Вот его текст:

«К вам, я думаю, уже дошли слухи о бунте в Спасском уезде с неделю назад. Дело было так: в деревне Бездне появился какой-то мужик — пророк, проповедовал свободу полную мужикам; те и поверили, отказались от работ и начали собираться в огромном количестве (до восьми тысяч человек). Граф Апраксин (царский чиновник по крестьянскому делу) отправился туда с войсками. Сначала, конечно, уговаривал мужиков, а затем начал их стрелять, и кончилась история тем, что около шестидесяти человек убито, шесть или более потонуло и до ста ранено. Есть слухи, что из раненых живы трое. Хорошее дело, победа полная, и, что замечательно, со стороны храброго нашего воинства не было урона. Вот что значит хороший начальник. Грустно! Впрочем, я не ручаюсь за совершенную верность переданного, но я слышал от таких людей, которые врать не будут. Замечательно, что крестьяне решительно никого не тронули, не было пьянства и буйства, и когда в них стреляли, то они сняли шапки и крестились. Великолепная картина! Вчера почти все студенты отправились на кладбище и служили панихиду об убиенных. Шапов говорил речь, и сегодня делается подписка (публично) студентами для вспомоществования семействам убитых и раненых. Что будет!? <...> Твой брат Ворожцов» (д. 302, л. 333 и об.).

И против этой улики ничего не мог возразить Ворожцов. «Брат мой Василий, теперь покойный, послал мне при письме карточку Шапова и речь его*, сказанную 18 апреля. Так как брата почерк не очень разборчив, то я переписал ее своею рукой и, вероятно, многим показывал, ибо и портрет Шапова стоял у меня в альбоме и ни от кого не скрывался, а так как в Казань ездит много слобожан и все демонстрации Казанского университета в Слободском бывают известны, то и эта речь была известна...» (л. 331). Итак, «незнакомство» со студентами не мешало Ворожцову знать о всех демонстрациях Казанского университета, читать и переписывать речь Шапова, показывать ее другим. Связь Ворожцовых с революционными организациями Казани, таким образом, не мимолетна. Она продолжалась несколько лет (по крайней мере, с 1861 по 1865 г.). Как глубока она была, сказать трудно. Возможно, что и связь с Герценом и Огаревым была не так мимолетна. Об этом говорит тон письма Огарева, его теплота и интимность. Вряд ли дело ограничилось двумя встречами. Возможно, что с Огаревым о Ворожцове говорил Пестерев. Вероятно, и Ворожцов говорил о Пестереве с Огаревым; возможно, что Огарев знал о связях Ворожцова с Казанью, а Ворожцов — о связях казанцев с Герценом и Огаревым. «Мы получили еще три письма о подробностях казанского дела, — писал Герцен. — Главные черты события те же самые. Мы не станем их повторять, особенно после признания в „С.-Петербургских ведомостях“». Кто писал Герцену эти и ранее присланные письма из Казани? Не было ли среди них тех, «кто врать не будет», кого лично знал брат Ворожцова, возможно и он сам?

В дополнительных показаниях, которые принудили сделать Ворожцова, он несколько подробнее рассказал о разговоре, который вели с ним в Женеве у Утина.

* Текст этого списка несколько отличается от опубликованных текстов. Список находится в ЦГИАМ (ф. 109, 1 эксп., 1866 г., д. 217, ч. 5, л. 12).

«Разговор запомнил об том, что надо распространять сочинения Герцена и Долгорукова, но так как последнего сочинения я еще не видел, то они принесли в листках что-то, сколько могу припомнить вроде „Правды“, где я нашел биографии придворных. Я сказал, что эти истории я за ужином на новый год слышал. Потом они говорили, что непременно надо вводить учебники, в особенности исторические, что они надеются перевезти в Женеву Герцена и издавать эти учебники с помощью его, что цена им будет дешевая, что только они не могут найти верной дороги для провоза их в Россию, а что в России нашлось бы много охотников торговать ими даже из книгопродавцев. Но фамилии не называли. Потом стали предлагать мне торговлю ими» (там же, л. 335). Не было ли среди «неназванных» фамилий фамилии казанского купца Петрика, не по указанию ли Огарева ему должен был сдать привезенные книги Ворожцов? Это требует дальнейшего изучения.

В тех же дополнительных показаниях Ворожцов сообщил еще об одной теме своих бесед с Огаревым:

«У Огарева еще вспомнил, что на замечание мое о бунте поляков, что это дело затеял не народ, а шляхта, которая угнетает народ лучше наших помещиков, Огарев горячо заступился за них, говоря, что это не бунт, а народная война, что поляков непременно поддержат извне, что эта война продолжится десятки лет и что в России должны стараться об том, чтобы не отстраниться от знакомства с ссыльными поляками, а, напротив, всеми силами стараться вводить их в общество и учиться у них страдать за родину, что и они, эмигранты, надеются через поляков воротиться в Россию» (там же, л. 335). Это позволяет сделать вывод, что разговоры Огарева и Ворожцова, несомненно, касались политических тем.

Есть еще один вопрос, который следует поставить в связи с Пестеревым, хотя ответа на него нет.

Дело в том, что ни один журнал того времени с такой силой, яркостью, глубиной не отзывался на расправу царизма с Чернышевским, как «Колокол». Конечно, у «Колокола» были к этому особые основания.

Герцен не мог простить себе, что он написал и передал Ветовникову те несколько строк, которые послужили поводом к аресту Чернышевского. Но, конечно, не это чувство диктовало ему статьи, а общность борьбы, которую вели и Герцен, и Чернышевский. В этом была сила, страсть статей в «Колоколе». Они шли почти из листа в лист (186, 187, 189, 190, 193, 194, 203) на протяжении ряда месяцев. Первая печаталась в пору, когда Пестерев был за границей; остальные — тогда, когда ездил в Лондон, Швейцарию и Париж, по его поручению, Ворожцов, а сам Пестерев предпринимал меры к тому, чтобы отправить Ольгу Сократовну к Чернышевскому на каторгу, когда приходилось встречаться ему с людьми, группировавшимися вокруг «Современника» и «Русского слова».

В «Колоколе», кроме Герцена и Огарева, печатались Александр Серно-Соловьевич, Зайцев, Утин; в нем печатались также материалы дела Чернышевского.

«Что Чернышевский?» — этот вопрос задал Пестереву Огарев.

«А что, ведь от вас уйти можно? Бакунин ушел же?» — Так подсказывал ему мысль о необходимости организовать побег Герцен.

Только устно, только в часы свидания за границей отвечал им Пестерев? Или, приехав в Россию и рассказав оставшимся на воле революционным борцам о том, что говорили о деле Чернышевского Герцен, Серно-Соловьевич, Утин, он принял меры к тому, чтобы собрать и отослать в «Колокол» материалы этого дела? Если припомнить, как много времени и сил потратил Пестерев на организацию отправки Ольги Сократовны в Сибирь с целью освободить Чернышевского, то едва ли могут быть сомнения в допустимости предположения, что он принял участие

в соби́рании и отпра́вке тех материа́лов о Чернышевском, на основании которых писались о нем некоторые статьи и заметки в «Колоколе».

В передаче информации о Чернышевском участвовал и Ворожцов. Об этом свидетельствует письмо Герцена к Огареву от 12 января 1865 г.

«Я думаю, — писал Герцен, — что анекдоты о цветах и об исповеди можно рассказать, прибавляя „говорят, будто“; важности особой нет. О Пестере<еве> я начинаю догадываться; может, он и прав (подробности расскажу при свидании). Я связываю тут один его промах с твоей вестью об иркутском жителе», т. е. Пестереве (XVIII, 14; уточнено по автографу ЛБ. У Лемке ошибочно: Пестрж).

Письмо это написано за шесть дней до письма Огарева Ворожцову; оно — ответ на письмо Огарева, в котором тот сообщает об «иркутском жителе». Ясно, что при свидании Ворожцов говорил с Огаревым о Пестереве, и о Пестереве писал Огарев Герцену, и Ворожцову говорил и писал, что считает встречу Ворожцова с Герценом «далеко не бесполезною». В письме Огарева и Герцена идет речь о цветах, брошенных Михаэлис на помост во время гражданской казни Чернышевского. Повидимому, об этом рассказал Ворожцов. Иначе Герцен не писал бы «можно рассказать, прибавляя: „говорят, будто“». Огарев воспользовался этим советом. В его заметке о деле Чернышевского, помещенной в л. 194 «Колокола» от 1 февраля 1865 г. (стр. 1595), есть такие слова: «Когда государю докладывали об этих цветах, говорят, он с гневом сказал, что „эту девчонку следовало бы послать в монастырь. К кому сочувствие?.. я уменьшил 7 лет каторги, а он за это не хотел поблагодарить, причастившись святых тайн*». Ясно, что к этой заметке в «Колоколе» имел отношение Ворожцов. Ясно, что Пестерев выполнил еще одно поручение Герцена — старался снабдить его материалами о деле Чернышевского.

Может быть, следует вспомнить здесь еще раз о том, что поводом к поискам, аресту, заключению в крепость Пестерева послужило письмо И. Худякова, в котором перечислялись те лица, которые могут помочь Н. Страндену в его попытке освободить Чернышевского. Среди них был назван Пестерев. Известно, что Худяков в ноябре 1865 г. был у Герцена (XVIII, 256). Едва ли возможно, что он не сказал Герцену о замысле освободить Чернышевского; едва ли во время этой встречи Герцен промолчал о разговоре с Пестеревым относительно освобождения Чернышевского, не спросил Худякова, почему не был реализован этот замысел. Вероятно, такой разговор был. Как по-иному можно понять, что Худяков рекомендовал Страндену связаться в этих целях в Иркутске с Пестеревым. Видеть Пестерева и говорить с ним Худяков по приезде в Россию не мог, так как Пестерева не было ни в Москве, ни в Петербурге. Отсюда и ошибка Худякова — он считал, что Странден может встретиться с Пестеревым в Иркутске, тогда когда Пестерев уехал оттуда еще в 1863 г. А то, что Герцен и Огарев хорошо помнили Пестерева в 1865 г., подтверждается показаниями Ворожцова: «Припоминаю, что Огарев нашел в „Русском слове“ под каким-то псевдонимом будто бы статью Пестерева и выразился, что этот писатель много обещает» (д. 302, л. 326).

Таким образом, связь Огарева и Герцена с Пестеревым и Ворожцовым продолжалась до ареста Пестерева, до привлечения к ответственности Ворожцова, до 1866 г.

11 ноября 1867 г. Ланской сообщал шефу жандармов Шувалову, что царь утвердил заключение Следственной комиссии. За Ворожцовым учреждался полицейский надзор, Пестерева возвращали в долговую тюрьму с указанием, что «по окончании срока его заключения» в ней его надлежит «выслать на родину в г. Иркутск, с учреждением за ним полицейского надзора и с воспрещением въезда в столицу» (л. 343 об.). В конце 1869 г. Пестерев был отправлен из Москвы в Иркутск.